

Кирилл  
Семёнов



## ПРОЩАЙ, ПОЛУДИНО!

### 1

Не думала не гадала Прасковья, что останется одна-одинёшенька на старости лет. Вроде и сын, и дочь есть, и внуки, а вот судьба безжалостно разогнала всех.

Прасковья Семёновна Маслова – крепкая, жилистая, сухонькая женщина в годах. Решился её сын перебраться с семьёй в Германию. Вернее сказать, не Андрей засобирался в дальние края, а жена удумала – поехали, и всё тут, иначе пути наши расходятся. Марина сама немка, по фамилии Гисс. Бабушку и дедушку её переселили в Казахстан из Поволжья в сорок первом году. В степных краях появились на свет её родители. Привольно жилось семье Гисс на казахстанской земле. Бывало, конечно, всякое, и трудности были, и горести, но беды проходили, и жизнь продолжалась – бежала тихой степной речкой, не задерживаясь у крутых ковыльных берегов. Здесь родилась Марина, училась, работала, вышла замуж, детишек поднимали с мужем Андреем, а как зашатался Советский Союз, вспомнила Марина о своих корнях. Всё подумывала уехать, да никак не решалась. Родители её никуда не собирались – жили себе в родной своей Фурмановке, а дочь уцепилась за идею – уеду, всё равно уеду! Только куда Андрей от своего села Полудино денется! Здесь мама одна-одинёшенька, здесь папка покоится в североказахстанской земле!

Есть у Андрея сестра Лена. Живёт она в соседних Токушах. Как заговорил Андрей об отъезде, решила Лена забрать мать, вот только Прасковья Семёновна не хотела оставлять Полудино, не желала бросать старую, покосившуюся от времени, вросшую окнами в землю избушку, построенную ещё дедом мужа – Феофаном Фёдоровичем. Сердцем прикипела Прасковья к уютному своему домишке, к земляночке своей, как сама она с добром и нежностью называла уютную, родную, наполненную тёплой памятью, но быстро выстывающую, ветхонькую избушку.

– Никуда я не поеду. И нечего обсуждать. Вот вам мой сказ! – говорила Прасковья Семёновна, когда дочь Лена заводила разговоры о переезде в Токуши. – Вольготно мне в ей, в земляночке. Другого счастья сроду не надо. Живу как барыня – сама себе хозяйка. Хочу – лягу, хочу – к окну подойду, а чо же мне делать у Лены? Там чужбина для меня, я там кто? Гостья, больше никто! На своей стороне мило – на чужой постыло!



Жили Масловы в дедовом жилище много лет. Сменялись поколения, старики уходили, рождались дети, вырастали, а домишко всё стоял. Решил муж Прасковьи построить новый, справный дом. Было это ещё в конце пятидесятых годов, как поженились Иван Николаевич и Прасковья Семёновна. Построил Иван добротную, бревенчатую, заметную среди небольших домишек хоромину с высокой крышей. Приладил даже резного петушка на краю конька, чтобы отличалась новая постройка от остальных домов. Помогал Ивану заливать фундамент и раскатывать брёвна родной совхоз. За хорошую работу в сельском хозяйстве, за золотые руки выделил директор Ивану помощников. Не отказывал Маслову и в машине, когда тот просил. Всё приговаривало совхозное начальство: «Не звери мы друг другу. Ты работаешь хорошо, на совесть, а доброму человеку помочь – святая обязанность всех односельчан!» Только, как построил Иван свой крепкий, высокий дом, оказалось, что принадлежит он совхозу, мол ставил его не сам Иван Николаевич, а Полудинский сельсовет. Подняли бумаги – и правда, земля совхозная, старая избёнка была оформлена Феофаном Фёдоровичем в собственность сельской конторы ещё в тридцать третьем году, когда обобществляли имущество сельчан. Новый дом стоит на той же земле и считается владением государства. Переживал Иван Николаевич, думал, что будет хозяином в своём гнёздышке. Погоревал, повздыхал и решил махнуть рукой – ничего не попишешь, спорить с государством – всё равно что махать кулаками по ветру. Переселил свою семью в новые стены, а в старых жили родители Ивана. А как пришло время жениться сыну Андрею, без раздумий перешли Иван Николаевич и Прасковья Семёновна в старую дедову землянку. Андрей с семьёй жили под крепкой крышей, и у родителей была отрада на душе – всем места хватало, никто никому не досаждал – пусть крепко укореняется сын, детишек растит, счастье бережёт.

Иван Николаевич был крепкий, здоровый, симпатичный мужик, волосы назад зачесаны, лицо крупное, сам высокий, вот только занеладилось здоровье у него. Вроде не жаловался ни на что, но мучили его страшные головные боли. Всё молчал, никому не жаловался, а рассказал о своих проблемах позже, когда понял, что нужен доктор – страдания сделались нестерпимыми. Потом резко испортилось зрение. Отправился в Петропавловск в больницу, всё хорохорился, бодро говорил: «Поеду, проверю зрение. Пусть очки выпишут...»

Положили в больницу на обследование. А когда Прасковья провела мужа, вежливый усатый врач в больших тяжёлых очках с толстыми линзами осторожно сказал Прасковье Семёновне: «Мы признали у вашего мужа рак головного мозга. Операция ничего не даст. Лишь сократит жизнь...»

То ли от горькой вести быстро слёг Иван, то ли от навалившейся на него хвори. Умер в муках страшных, тяжёлых, морозной зимней ночью перед Рождеством. Было это в восемьдесят четвёртом году. С тех пор жила Прасковья Семёновна одна.

Отец Ивана – Николай Феофанович – всю жизнь работал в поле, трудился механизатором, а ещё строил он родное своё село. Большой, красивый, зелёный посёлок Полудино был когда-то райцентром, это уже потом объединили два района и стали называть просто селом.

На войну попал Николай Феофанович в самом её конце, получил ранение, а после возвращения с фронта так и прожил до конца своих дней. Никуда не уезжал

из родного своего села. Умер Николай Феофанович в середине шестидесятых годов. Его жена, Анна Петровна, родилась в Толмачёвке. Потом она приехала в Полудино, да так и осталась жить там, где повстречала красавца Николая. Работали, забыв об отдыхе, пережили страшную войну. Было у них пятеро детей, да всех унесла смерть, как кровожадный зверь, утаскивающий беспомощную добычу. Все поумирали ещё в младенчестве. Дети были слабыми, питались плохо, у матери молока не было. Да и с чего ему быть, если краюхи хлеба не видел! Анна Петровна, супы из лебеды варила. Поднимется температура у детишек, а лекарств нет, докторов – тоже. Остался только один, самый младший ребёнок – Ванюша. Не тронула его страшная гостья-смерть, частенько заглядывающая в дом Масловых, пощадила малыша.

Родители Прасковьи Семёновны жили в Скворцовке. Отец, Семён Иванович работал на земле. Не бросал её, родимую, до самой старости, да и лёг в неё, благодарно приняв свой уход. С утра до ночи только и знал Семён – пахать да сеять, а Марья Ермолаевна скотину лелеяла. Ни одна совхозная корова не проходила мимо родных, тёплых рук Марьи Ермолаевны. Всех своих бурёнок по именам знала известная в Скворцовке скотница.

Марья Ермолаевна была человеком набожным, тайно от сельсовета у себя дома крестила детей. В горнице у неё висели иконы, плотно занавешенные тёмной тканью. Вечерами в её доме молились. Захаживали люди со всей округи. Районные власти грозили Марье судом и тюрьмой, а участковый устраивал облавы на молящихся старух в известном всей Скворцовке доме. Но даже жена председателя сельсовета частенько заглядывала помолиться. Не могли они с мужем завести детей. Ничего не помогало, а после посещения дома Марьи Ермолаевны неожиданно супруга сельсоветского начальника известила мужа о случившемся чуде. С тех пор и не трогали Марью, перестал донимать своими набегами участковый, да ещё и тайком помогали – провели радио, разрешили держать трёх коров, правда, когда сельсовет однажды отвёл большую делянку под сенокос, Семён Иванович не согласился: «Чем таким мы особенные от всех скворцовских!..»

## 2

Помогал Андрей матери. Как не помогать – жили они на одной улице, в соседнем доме. Дорог был Масловой свой уютный очаг с русской печкой и скрипучими половицами. Ни на какие хоромы не променяла бы Прасковья свою избушку, сработанную Феофаном Фёдоровичем.

В последнее время стало худо на селе. Встретили новый тысяча девятьсот девяносто третий год – работы не стало вовсе, народ отправился кто на заработки, кто за товаром, а кто просто чемоданы набил барахлом и дал дёру в разные края – от Берлина и Варшавы до Владивостока. Масловых спасало хозяйство да огород, держали в общем сарае трёх коров, телята были, овцы – всё на две семьи. Правда, огороды разные – не любила мама, чтобы много хозяев было у земли. Хотелось ей вволю работать – не делить кадку воды, не искать переставленные снохой лопату или грабли. Тем и спасались, что сохраняли живность. Трудные времена заделали и скот. С кормами наступила напряжённость, землю порасхватывали разные хапуги-арендаторы, а за мешок дроблёнки или силоса фермеры гнули такие цены, что легче всех свиней да коров повырезать и сдать на мясо. Дер-

жались Масловы как могли. То договорится Андрей, заготовит запасы на зиму подешевле, то людям поможет (был у него культиватор «Крот», огороды пахал, не бесплатно, конечно!), а там и ему подсобят – отсыплют зерна или комбикормом рассчитаются, сена отгрузят, соломы подкинут. Была у Маслова своя делянка для сенокоса, но паи пересмотрели, урезали, оставили всякие солончаки. Пошёл меж полудинцами разлад – одному дали хорошее место под покос, а другому – кусок проплешины. На собраниях повадились устраивать такие скандалы, такой шум поднимать, такую дорожную пыль столбом, что доходило до мордобития. Кричали, громили друг друга на чём свет стоит, грозились сено сжечь, голодом заморить. Совхоз рассчитывался мясом вместо зарплаты. Кому доставалась коровья вырезка, а кто и ливером обходился. Снова шум, крики, ругань да проклятья. Так и жили – что ни день, то война.

Любила Прасковья Семёновна внучек, двенадцати и тринадцати лет, Светланку и Катюшку, сильно похожих на их отца. Обе девчушки были курчавыми, правда, Светлана характером напоминала Марину – как заупрямится, как втемяшит чего в голову, спасу нет.

Уважала сноху Прасковья Семёновна, только мешал беспокойный Маринин нрав сблизиться двум женщинам, горячо любившим Андрея. Сказала однажды Прасковья Семёновна своей снохе, что дом, в котором живёт Андрей с семьёй – это подарок, который теперь по карману не каждому. Тогда-то и началась какая-то неразбериха в отношениях между свекровкой и Мариной. При всяком удобном случае вспоминала теперь жена Андрея: «Я-то кто в этом доме! Не хозяйка же! Да и жильё не наше – подарок! Что за подарок такой, если он совхозный!»

Ухватится железной хваткой Марина, как плуг в почву, переворачивающий пласты плодородной земли, и не оторвать. Всю себя изведёт, но не забудет неумело оброненного слова. Не любила Прасковья злопамятства Маринино, но ценила в родном человеке трудолюбие, хозяйственность и старательность. Прощала сыновней жене любые колкие замечания, любые недомолвки, забывала строптивость и упрямость. Всё у Марины горело в руках, работа ладилась, удавалось всякое, даже трудное дело, а уж содержать в чистоте родное жилище Марина умела. Везде цветастые коврики, полы чистые, блестят, на старой мебели – ни следа, ни пылинки. Под каждой статуэткой и сувениром на старомодном серванте – вязаная салфетка. Посуда стоит аккуратно, в ряд – тарелка к тарелке, чашечка к чашечке. Марина и сама выглядела опрятно – вещи носила как на подбор, всегда чистые, модничала – привозили ей платья, сарафаны и куртки из Германии, форсистые вязаные шапочки, элегантные шарфики. Даже когда работала в совхозе, старалась не пачкать фуфайки и комбинезоны. И Андрей у неё носил только идеально отутюженные рубашки и футболки.

Идея отправиться в Германию в поисках лучшей жизни родилась у Марины как навязчивая, беспокойная мечта после просмотра зарубежных фильмов, которые каждый вечер крутили в сельском клубе. Гнусавая озвучка, стрельба и голые девки на экране словно погружали сельскую молодёжь в какой-то другой мир, полный загадок, приоткрывали занавесь в непохожую на окружающую жизнь реальность. Все подружки как с ума посходили – принялись наряжаться, как дурочки, в джинсовые юбочки, едва срам прикрыт, и давай по Полудино

задами крутить. Старики нервно плевались, а мужики руки распускали, заприметив ещё издали расфуфыренных девиц с вульгарно размалёванными лицами. Андрей готов был возненавидеть Маринкиных подруг, называл их «вешалками» и «оторвами». Прасковья Семёновна тоже возмущалась новой моде, ругалась, когда видела полудинских девушек, накупивших разных шмоток: «Насмотрятся фильмов всяких, музыки какой попало наслушаются, ходят потом как стервы! У самих уже и дети есть, да всё только от разных мужиков. Народют их, а потом пожилым родителям нороят спихнуть!»

Говорила Прасковья Семёновна, как в воду глядела: «Нынче все по загранице с ума сходят, больно глянулась тамошняя жись. Гляди, все переедем кто куда, – и добавляла с горечью: – Чужедаляняя сторона горем посеяна, слезами поливана, тоской упитана, печалью огорожена!»

По душе был Марине уклад чужих стран. Всё сильнее манила красивая заграничная жизнь, всё больше было разговоров о Европе да Америке. Засобира-лась Марина в Германию, словно специально поперёк свекрови пошла. Некуда деваться, засуетился и Андрей. Было это в девяностом году. Выезжать тогда разрешили, и первые переселенцы отправились в путь. А как распался Союз, Марина поставила вопрос ребром – будем уезжать, и точка. Время наступило хмурое, никудашное, крах пришёл не только в страну, но и в каждой семье завыли надрывным, протяжным плачем сквозняки – ни работы, ни денег, и просвету на лучшую жизнь не видно. Собрались уезжать туда, где, кажется, будет надёжнее и сытнее, вот только Прасковью Семёновну оставлять одну нельзя. Годы у неё далеко не молодые – минувшей весной исполнилось шестьдесят лет. Женщина она крепкая, всю жизнь работала за троих, но сохранила здоровье. Справляли шестидесятилетний юбилей Прасковьи, сноха с сыном и объявили: совхоз разваливается, работаем от случая к случаю, зарплату не получаем, говорят, что скоро и вовсе будет туго – в общем, решено – будем уезжать. Как сказала Марина, что собрались они в Германию, сердце Прасковьи Семёновны облилось кровью. Вроде бы правильно толковали молодые – работы в деревне теперь нет. Андрей слесарем трудился, технику ремонтировал, а Марина была телятницей. Поговаривали, будто грядёт голод – кормов нет, в городе не лучше – заводы остано-вились, на каждом шагу рынки да кооперативы, все подались торгашествовать, деньги вкладывать в разные ваучеры «Силикат-инвест» и «Промис-инвест», но жизнь наступила – сплошной инвест. Одного не могла понять Прасковья – зачем отправляться в дальние края. Там язык надо знать, там жизнь совсем другая. Потянуло людей за лёгкой судьбой в тихую и спокойную европейскую страну. С Мариной-то всё ясно: собрались проворные немки полудинские на чужбину, писем из кёльнов своих напisyляли с фотокарточками, как они там в джинсах шастают да цветочки нюхают – вот и Маринушке захотелось в красоту эту всей окунуться. Ничего не попишешь. Глазищи свои голубые выпучила, грубое угловатое лицо покрасила, стрелки на глазах навела, пышные волосы приподняла, и давай носиться с документами то в областной город, то в райцентр Булаево. Потом немецкий язык учила и мужа заставляла вспоминать забытую школьную программу. Ездили с Андреем в Алма-Ату, сдавали экзамен. Вскоре снова наматывали километры то в область, то в районный город. Утренней электричкой туда, обеденной – обратно. Всё вызов ждала: «Почтальон не приходил?» – «Да был кто-то, но я пока открыла, уже и след простыл» – «Как же так! Я же ждала,

надеялась!» Бежала Маринка на почту, задыхаясь, спрашивала у вечно сердитой почтальонши тёти Нади: «Вы приходили? У нас пока свекровь откроет...» – «Не было меня. Нет пока ничо...»

С Андрея чего взять? Хоть и мужик он, а всё одно, как телок – прутиком погоняют, он идёт. Сказала жена «поехали» – и давай Андрей Иванович нехитрые пожитки собирать.

Прасковья Семёновна ничего не говорила сыну и снохе, только тихонько плакала у окна, когда видела пробежавшую с бумагами Марину. Продавал сын свой хороший, тёплый, добротный дом – крепкую избу с жёлтыми наличниками и высокой крышей.

Шептала Прасковья самой себе, вытирая слёзы: «Недаром говорят: без хозяйина дом – сиротинка...»

Приватизировал Андрей жильё, а теперь и сам не рад. Принадлежало имуществу совхозу, нет же, Марина и здесь постаралась – лихо кинулась оформлять и землю, и некогда совхозную избу. Вот Прасковья и не выдержала – сказала о подарке. Был дом совхозным – надо срочно приватизировать, нельзя упускать шанс: живые деньги, недвижимость. Теперь все о недвижимости говорили, даже дядя Лёня Голубков с экрана призывал деньги вкладывать в акции: в марте купит жене сапоги, в апреле мебель справит, ну а в мае до машины дело дойдёт. Смотрела Маринка на манившую богатством жизнь – тоже хотела и акционером быть, и деньги иметь – как в рекламе.

Дом приватизировали – теперь все карты в руки. Вот только кто его купит! Куда этот подарок, доставшийся Андрюхе Маслову? Хоть сжигай! Всё теперь долларами меряется. Человеческая судьба, и та доллары стоит. Поговаривали, будто скоро деньги с Лениным отменят, появятся какие-то не то дынге, не то тынге. Маялся Андрей долго, потом и вовсе решил оставить свой дом – продавай, мать, а деньги пришлешь, коли продашь.

Ходила старушка к директору совхоза, упрашивала:

– Купи ты, Николай Алексеич, дом Андрея, ради Христа!

Но седой и хмурый директор лишь нервно бубнил себе под нос:

– Не могу я, Семёновна! Тут земля из-под ног уходит, каждая копейка на счету, а ты заладила – купи! Поля арендаторам задаром раздаём, будь оно неладно! Да и куда совхозу этот дом? Он как телеге пятое колесо!

– Да рази ж мы виноваты, коли родная земля для нас чужбиной стала! А на чужбине жить – только слёзы лить! – с болью говорила Прасковья Семёновна, вытирая красные глаза краем пёстрого платка, аккуратно повязанного на голове.

Николай Алексеевич сидел за конторским столом, заваленным разными бумагами. За стеной глухо стучала по клавишам пожилая машинистка.

– Семёновна, даже не надейся! Уговаривать меня нет смысла, ты знаешь! – твёрдо говорил директор. На его хмуром, землистого цвета лице поигрывали скулы. – В добрые времена как мы в селе встречали людей, помнишь?

– Как же, помню! Дома строили, землю выделяли, работай только!

– Правильно! Всем совхозом дома ставили. Если надо землю вспахать – вот тебе трактор. Если надо тебе животину – бери, разводи, с кормом поможем. Знай работай! Теперь это всё, Семёновна, в прошлом, вот так! – безрадостно заключил Николай Алексеевич, взволнованно поглядывая на заваленный макулатурой стол.

– Чо ж делать-то... – причитала женщина, – неужто пропадёт дом! Огород зарастёт ить...

– Пускай разберёт твой Андрюха избу.

– Куда с ей, с разобранной! В Германию везти что ль! Там же заграница!

Брела Прасковья из совхозной конторы мимо сельмага. На большом крыльце кирпичного здания расположились несколько раскладушек с китайским ширпотребом: на импровизированном прилавке стояли белые кроссовки, резиновые сапоги и женские туфли на каблуках.

Припомнила Прасковья Семёновна, что и сын её год назад начинал коммерцией заниматься. Опять же, не Андрей выдумал торгашествовать, а жена его предприимчивая и неусидчивая. Глядя на беспутную жизнь, похожую на извилистую и ухабистую дорогу, Марина принималась скупать в городе то жевательные резинки, то набирала спирт «Рояль» и везла пузатые бутылки на рынок в Булаево. Всё хотела разбогатеть, Андрея настраивала: «Нечего сидеть! Поехали стоять за прилавком на базаре!»

Не заладилось у них трудное коммерческое дело: первую партию алкоголя продали, а за второй не поехали – решили вырученные деньги потратить на оформление документов для отъезда. Чтобы на рынке стоять, тоже и связи нужны, и деньги – тому заплати, того уважь – то рэкет, то милиция, много народу кормится у палаток.

### 3

Выходила Прасковья на дорогу, поглядывала на дом Андрея, озиралась на родную свою избёнку. Сердце грустью сжималось, а на душе было светло. Пройдёт навстречу соседка, проедет на скрипучей телеге знакомый возница, поздоровается с ними Прасковья, перекинется словом, и потеплеет невесёлый взгляд Масловой. Потом опять посмотрит на знакомые, облезлые и покосившиеся стены своей землянки, подметит давно не крашенные оконные рамы, и подкатит к горлу ком – просто спасу нет.

– Ох-хохонечки хо-хо! – охала Прасковья и вела неторопливую беседу не то с давно умершим мужем, не то просто забывалась – бормотала сама себе. – Видно, не долго мне осталось по земле нашей грешной колобродить. Вот уедет сынок, разлучат нас километры, и можно тогда спокойно помирать. Только одного жалко: не увижу, поди, своих внучек больше, а ить хотелось и правнуков понянчить вдосталь на старости-то лет, потешить своё сердце, забывшее ласку да заботу о людях-то. Всякое переживали мы, но никогда я не думала не гадала, что придётся мне такое терпеть – провожать родного сына на чужбину, да на какую чужбину – подумать только – в Германию! Вот ить как! – и по привычке добавляла: – На чужой сторонушке рад своей воронушке...

Возле дома Прасковьи Семёновны стояла раскидистая яблоня, спасая жарким летом от палящего солнца. Это Андрей выкопал лет десять назад у себя возле дома саженец. Поливал его, ухаживал, так и прижилось деревце. Мелкая гусиная травка вплотную стелилась от дороги к самому дому сына. В парничке росла дичка, посаженная когда-то отцом Андрея. Осенью облетала жёлтая листва с яблони, напоминая Прасковье Семёновне о покойном муже. От этого красивого, плодоносного дерева и саженец, ставший настоящим деревом-богатырём, прикрывающим резные, узорчатые наличники избы Прасковьи Семёновны. На

жарком летнем ветру переговаривались зелёные листья за открытым окном, словно шептались о чём-то своём на понятном одной яблоне языке. А осенью сдувал безжалостный ветер опадающую листву, стучало дерево по крыше дома ненастными ночами, предвещая о первом снеге.

Построил когда-то за огородом Иван Николаевич баню. Выписал знакомый железнодорожник на себя шпалы, а Иван за пять бутылок «Экстры» забрал у него да принялся ставить свою хоть и небольшую, но баню. Совхозная общественная постоянно была битком набита – народ словно ни разу не мылся, а дома воды не нагреешься, да попробуй-ка с тазиками в кухне нагишом – холодно. За пару месяцев Иван поставил стены, покрыл железом крышу. Тягал на себе шпалы из лиственницы, сорвал спину, в общем, намучился, да и уход за скотом никто не отменял. Сначала рисовал в старенькой, пожелтевшей тетрадке будущую баню, потом уже принялся укладывать шпалы. Помогали ему люди – один бы не справился. Тому бутылку поставит, другому подсобит колодец вырыть. К осени опробовали свежий парок – хорош, крепок! Получилась банька без фундамента, с низкими потолками, зато своя! Осенью установили полок, и давай париться. Соседи просились помыться – всем нравилось бодрящее, хмельное марево. Иван любил запарить зимой берёзовый веник, плеснуть холодной водицей на раскалённые камни и хлестать разомлевшую спину. Относился Маслов к мытью, словно к ритуалу какому-то: ждал пятницу, готовился. Наколет, бывало, ещё в четверг щепочек для растопки, приготовит отборные берёзовые поленья, натаскает воды. Ну а в пятницу, после работы, наступала воля: встречал коров, управлялся Иван, и начинал, как он сам говорил, «шуровать». Приучил к своему ритуалу и мальчонку. Ленка мало интересовалась такими забавами: пойдёт в полухолодную баню вместе с мамкой, посидят, погреются, ополоснутся и довольные возвращаются, приговаривая: «Хорошо намылись!» – «В холодной бане!», – подначивал Иван, подмигивая сыну. Андрюшка был в отца: шуровал до одурения. Даже как-то перегрелся – рвало потом. Прасковья ругалась на мужа: «Моду взял, шары выпучит и несётся в парилку без ума!»

## 4

Грунтовая сельская дорога пролегла к перекрёстку, примыкала к широкой асфальтированной центральной улице, ведущей мимо полудинского тока, расположившегося немного в стороне от железнодорожного переезда. Стояли вдоль дороги неброские, но крепкие дома, всегда ухоженные, с заборами, поставленными на совесть. Много разных цветов украшали местные палисадники: встречались самые обыкновенные ландыши, да почти полевые – Иван-да-Марья и незабудки, а кое-где такая невиданная красота бывала – глаз не оторвать. Обзаведутся хозяева разными цветами: бархатцем, лилейником и эхинацеей, освежат заборы, покрасят ставни, и стоят ухоженные домики, как невестушки, в один ряд. Свежая краска на резных наличниках долго не выгорала на палящем солнце. Дома, где жили немецкие семьи, выделялись в селе особо: у каждой избы благоухали раскидистые пёстрые цветники; чистые, ухоженные дворы; резные наличники домов походили на сказочные узоры.

Помнила Прасковья Семёновна родное своё Полудино цветущим садом. Возле каждого дома цвели весной яблони и кусты молодой сирени. Воздух на-

полнялся свежестью и, облетая на жарком полынном степном ветру, яблоневоый цвет стелился белым ковром на разьеженной сельской дороге. Вздмался опавший цвет под колёсами проезжавших по селу тракторов да грузовых машин. Помнила Прасковья деревья небольшими саженцами, аккуратно посаженными в прохладную землю добрыми людьми. Приезжал народ на целину из разных мест, строил село, выращивал деревья, сады, детишек своих поднимал, работал – хлебушко лелеял да выхаживал. Земли для работы хватало всем. Вон её сколько – бескрайние просторы. Выйдешь за село, справа по дороге большое озеро Питное раскинулось круглой казахской пиалой, а левее – богатое рыбой озеро Половинное. Чуть дальше Камышловского лога, между степными водоёмами, начинается широкое пшеничное поле, упирающееся в едва различимые на горизонте берёзовые колки. Над безбрежным, жёлтым морем хлеба простирается бездонное синее небо с лёгкими, как пух, облаками.

Часто вспоминала Прасковья Семёновна, как они с мужем и маленькими Андрюшей и Леночкой ездили когда-то за грибами. Было тогда сынишке лет девять. Путь был неблизким – километров десять, за село Ганькино. В берёзовых чистых лесах в стороне от озера Камышлово стояла небольшая деревушка Ворошиловка. Грибные леса поэтому и назывались «ворошиловскими». Доживала в ту пору деревенька свои последние дни – вскоре исчезла она вместе с последними её жителями, словно не было никогда этих скромных, обветшалых от старости избышек. В ворошиловских лесах встречалось много сырых груздей. Иван Николаевич любил побродить с плетёной корзинкой по стройному лесу, похрустеть берёзовыми сухими сучьями. Рано вставал, управлялся со скотиной, поднимал сынишку и дочурку. Прасковья наливала молоко, брала в дорогу хлеб, сметану, прихватывала творог, а иногда и шматок сала – дорога дальняя, двое родных мужичков всё-таки – захотят перекусить. Заводил Иван свой мотоцикл «Юпитер-3», садил в люльку детишек, сзади устраивалась Прасковья, и они гнали в дальние грибные места.

Проезжали как-то мимо Камышлово. Озеро солёное, безжизненное, далеко от него пахло тухлыми яйцами, а по берегам стелился красноватый хвощ и белела солёная грязь.

– Папа, почему нельзя купаться в таком озере? – сквозь рёв мотоцикла спрашивал маленький Андрюша у отца.

Мальчик поглядывал в сторону раскинувшегося по степи водоёма.

– Не положено, – немногословно отвечал угрюмый Иван Николаевич.

Отец толком не объяснял сынишке, смотрел на извилистую дорогу.

– Почему?

– Нельзя и всё, не положено, сказал же! – упрямылся Иван Николаевич.

Бог его знает, что за «не положено» такое! Мальчику было интересно.

В ближних колках к озеру искали грибы. Леночка и Андрей собирали недалеко от мотоцикла костянку, а родители уходили в лес. Берёзовый колок манил перекличкой звонких птиц, где-то приглушённо, стеклянным голосом пела кукушка. На безоблачном синем небе начинало пылать жаркое июльское солнце. Воздух наполнялся терпким, щекочущим ноздри запахом подсохших трав. В лесу стоял духмяный, немного прелый запах. Бесконечным знойным голосом лета пели кузнечики. Грибы в погожий и светлый день взбирались в плетёные корзинки один за одним. Были обабки, подберёзовики, волнушки, лисички как на подбор.

Долго любовался Иван Николаевич каждому грибу. Полюбуется с одной стороны на красношляпый подосиновик, притаившийся среди тонких стебельков травы, осмотрит с другой, а уж потом осторожно подойдёт к нему, срежет аккуратно и положит к себе в корзину. Иван улыбался, всё приговаривал ласково: «Вот ведь куда запрятался, дружок! Ничего, от меня не уйдёшь! В прятки со мной не играй!»

В обыденной жизни Иван Николаевич был человеком хмурым, улыбался редко, на расспросы отвечал односложно, немногословно. Но стоило ему прийти в лес, лицо его светлело, взгляд наполнялся добротой, словно яркое солнце пробивалось сквозь серые тучи. Маслов полной грудью вдыхал немного прелый лесной воздух. Мысли становились светлыми. В берёзовых колках, скромно стоящих в сторонке от бескрайнего моря спеющей пшеницы, безмятежность и покой наступали в душе. Бесконечные песни лесных птиц ласкали слух.

Находил Иван любимые свои грибы – грузди. Бывало, окликал жену: «Гляди, какая красота!» И впрямь, стоило Ивану приподнять берёзовой тросточкой бугорок из прошлогодней прелой листвы, как появлялся глава семейства сырых груздей. Аккуратные воронковидные шляпки с лёгким пушком и молочно-белой кожицей были словно на подбор.

И если встречались Маслову одни грузди, тогда никакие другие грибы Иван Николаевич не признавал.

Вернулись родители на поляну к мотоциклу, Леночка сидела одна.

– Где же Андрейка? – взволнованно спросил отец, пытаясь разглядеть сына в высокой траве. – Костянку собирает?

– На озеро пошёл.

– На какое озеро? – недоумевал отец.

– Которое там, – Лена показала пальцем в сторону едва видневшегося водоёма, растянувшегося на горизонте тонкой линией.

Иван Николаевич, не раздумывая, ринулся к мотоциклу.

– Ждите нас здесь, – на выдохе проговорил Маслов, дёргая правой ногой по кик-стартеру.

Тишина задремавшего на солнцепёке леса прервал рёв двигателя. Иван Николаевич решительно ударил по рычагу переключения передач, и мотоцикл помчался в сторону озера Камышлово.

Иван выбрался на просёлочную дорогу, ведущую в сторону села Ганькино. Ехал на скорости, горячий воздух бил порывами по лицу. Вспомнилось Маслову, что в дальнюю дорогу не взяли мотоциклетные каски – привыкли на ухабистых просёлочных дорогах обходиться без них.

«Сейчас не помешала бы мне каска. Всё одно пылится без дела!» – думал Иван, задыхаясь от порывов горячего полынного ветра.

Ближе к озеру поднялась неприятная вонь, напоминающая тлень. Дорога спускалась в пересыхающей летом протоке между двумя водоёмами – пресно-солёным Половинным и безжизненным озером Камышлово. Перед Иваном лежал заросший хвощом Камышловский лог – протока, наполняющаяся каждой весной талыми водами. Справа раскинулась огромная водная гладь, соединявшаяся вдали с бездонным синим небом.

«Где он запропал!» – нервничая, спрашивал себя Иван, переживая за любопытного сорванца.

В километре, вдоль по берегу, Иван увидел едва заметный облик человека, напоминавший чёрную точку. Ехать в солонцы не хотелось. Маслов заглушил мотор, взял с собой буксировочную верёвку и отправился в сторону воды. Солёный вонючий водоём напоминал огромную лужу, на белёсых берегах не было даже травы.

– Ну что, сынок, искупался? – спросил Андрюшку отец, подошедши как можно ближе к мальчишке, увязшему в чёрной грязи.

До воды оставалось метров двадцать, но подобраться к ней было невозможно.

– Папа, м-меня засосало! – сквозь слёзы говорил мальчуган. Зад и спина были измазаны в чёрной, как мазута, жиже. – Я п-пытался сесть, чтобы ноги вытащить, но провалился. Вымазался только. Думал, что утону...

– Будешь знать, как папку не слушаться! – негромко проговорил Иван, бросая разлохмаченный край верёвки.

Отец стоял в двух метрах от Андрея. Потрескавшаяся, засохшая твёрдая грязь держала Ивана Николаевича. Он не решался подойти ближе. Андрей ухватился за верёвку грязными руками. Отец тянул, но ладони сына скользили.

– Не получается!

– Руку-то обмотай, скользить не будет! – строго сказал Иван Николаевич.

Мальчик принялся послушно накручивать верёвку на вымазанные запястье и кисть.

– Больно, папа! – заговорил Андрюша, когда отец потянул его из дурно пахнущей жижи.

– Терпи! – отвечал Иван, заметив, как ноги Андрея помаленьку оставляют грязь.

– Не могу!

– Говорю, терпи! Ты же мужчина!

Лицо мальчика изменилось от напряжения. Раздался звук чмокания, и Андрей освободился от липкой кашицы, упав под ноги Ивану Николаевичу, который и сам едва не упал. Один ботинок остался в грязи, второй – на ноге мальчика.

– Что теперь делать? – спросил Иван, строго глядя на сына.

Андрей от отчаяния бросил оставшийся ботинок в сторону озера, но обувь не долетела до воды. Отец потрепал всхлипывающего сына по вихрастой голове. Андрей, разрыдавшись, уткнулся в пояс родителя и не мог успокоиться. Он трясся в безудержном, безголосом плаче.

– Я же тебе объяснял, что в этом озере купаться нельзя, – поглаживая Андрюшку по голове, говорил папа.

Чтобы легче было нести босого мальчика, Иван посадил сына на свои широкие, сильные плечи, и они отправились к видневшемуся вдали мотоциклу. С тоской и обидой поглядывал Андрей в сторону огромного озера, лежащего одиноким блюдцем, сверкающим на солнце.

«Будет уроком!» – крепче придержививая липкие и грязные ноги мальчика, думал Иван. Было ему немного грустно, что Андрей не послушался, ушёл самовольно, ничего не сказав родителям, но радостно, что всё обошлось и сынишка не забрёл в солёную воду.

Прасковья в тот день сильно переволновалась. Ивана и Андрея долго не было, а когда песни лесных птиц прервал рокот приближающегося мотоцикла, Маслова увидела своего сына и не узнала его. Из люльки виднелась вихрастая

кудрявая голова Андрея. Мальчик был не похож на себя: лицо грязное, красные глаза от слёз.

– Обувь-то где потерял, горе ты луковое? – спросила мама, увидев босые ноги.

От сына несло нестерпимой вонью. Прасковья Семёновна не спрашивала мужа, где нашёлся Андрей. Всё было понятно без слов – мальчик провалился в грязь.

## 5

Скот решили продать. Ни к чему пожилому человеку держать коров и овец, да и силы уже не те. Последнюю свинью зарезали ещё прошлой осенью, как выпал первый снег. Так решила сама Прасковья Семёновна, словно чувствовала, что придётся расставаться с хозяйством. Вроде двигалась Маслова быстро, ноги ходили, здоровье пока не подводило, а вот изработанные руки ныли нестерпимой болью в суставах. Всю жизнь она отработала дояркой. Бывало, накрутит бурёнкам вымя, натаскается за день, натопчется с доильными аппаратами и ведрами, а вечером за своими коровами ходить – доить да молоко прибирать, а ещё держали огород, на покосы ездили. До слёз болели руки, а когда старость подкралась – и вовсе невоготу стало.

Как ни старалась Прасковья не думать об отъезде своих родных, мысль чёрной тучей подкрадывалась к ней, нависала, не давала покоя жуткими, оглушающими громовыми раскатами. И вызов-то пришёл быстро. Рассказывали разные люди, будто иные переселенцы по два, а то и по три года ждали его, здесь же – раз, и готово. Не успела проворная Марина подать документы, пришёл вызов. Как у человека получалось, Прасковья Семёновна не понимала, только думала: «И откуда прыть-то такая у её! Вроде с виду спокойная, а как взяла документы в руки – тут же всё горит, всё выходит! Правильно, у её и мать такая же точно: тому на лапу даст, тому улыбнётся, к тому ключи подберёт, другому подарок подсуботтит: одному рыбки, второму мясца, третьему денежек подбросит – толкачка ещё та! Дело своё знает! Мы с Андреем совсем другие люди. Блата у нас сроду нет, в начальники не пёрли, а вот Марина себя раскрыла, показала, какая она есь. Прыть от природы, как у кошки!»

Всё переживал Андрей: успеть бы выкопать картошку, подсушить да в погреб прибрать. Сентябрь стоял солнечный, сухой, успели вовремя, правда, урожай спускали в погреб, когда уже всюю лили затяжные холодные дожди.

Всё не унималась мать. Копали с сыном картошку, а Прасковья Семёновна только и успевала наставлять.

– Нормальные люди изо всех сил здесь жись стараются наладить, только вам всё неймётся, – негромко ворчала женщина, старательно выкапывая клубни из земли, прогретой тёплым летним солнцем. – Ты делай всё для девчонок своих здесь! И Марине передай, мол, надо подниматься на ноги не там, где легче, а там, где корни твои, где прирос ты к родным берегам.

– Да какие ещё корни, мама! – взорвался Андрей. – При чём здесь корни! Много на корнях повыросло детей? Все ли из них получились любящими свои берега? Хоть наших девок возьми: весной им предложил на кладбище к деду сходить – что ты! С места не сдвинешь! Одна другой младше, а всё туда же. Света заявляет: «Белые джинсы хочу!» А старшей уже «Денди» подавай...

– Что это такое – Деди?

– Игровая приставка, – объяснял Андрей.

По-осеннему прозрачный воздух был ещё тёплым. Низкое солнце пригревало последним теплом. За огородами виднелись усыпанные золотом берёзовые леса. Неспешно кружила опавшая листва на едва ощутимом, тёплом ветру. Ослепляли неяркие солнечные лучи. Андрей поглядывал на дорогу, по которой то и дело проезжали машины, поднимая вслед за собой опавшую листву.

– Появилась в городе приставка. Её можно проводами к телевизору подключить, – пытался объяснить Андрей.

– И для чо она нужна? – не понимала мать, складывая клубни в оцинкованное ведро. – Зарубежная поди?

– Китайская. Она для того, чтобы играть. Вставляешь кассету как в видеок..

– Опять головы морочить будут людям...

– Детям, – поправил Андрей.

– Тем более! Повыведут молодёжь! Вытравят начисто!

– Говорят, будто «Денди» это кинескоп губит у телика...

– А я чо толкую! – сокрушалась Прасковья Семёновна. – Когда теперь заработаешь с такими зарплатами на новый телевизер!..

– Так что не будут наши дети за землю держаться, – подытожил Андрей, высыпая картошку из ведра для просушки.

– Вы им больше рассказывайте про Деди всякие!

– Всё село только об этом и говорит. От нас уже ничего не зависит!

– Неудивительно, что по Германиям-то вас всё тянет! – возражала мать. – Пять лет только и твердят мне по телику о том, как хорошо за границей! Только чо же в ей хорошего-то! Чужая сторона прибавит ума! Не так рази я чо сказала?

– Ой, не знаю, что и делать мне с этим отъездом! – схватился за лохматую голову Андрей.

Курчавые вихры торчали из-под крепких пальцев. Сын Прасковьи сидел на корточках, склонившись над картошкой. Долго не знала Прасковья Семёновна, что сказать сыну. Поняла она, что не хочет Андрей уезжать.

Взяла Маслова тёплую руку своего сына и, заплакав, проговорила:

– Нет, сынок! Ты должен ехать вместе со своей семьёй! Куда семья, туда и ты! Другого пути у тебя нет!.. Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет..

Вытирая уголком платка заплаканные глаза, Прасковья Семёновна не выпускала родную ладонь сына из своих жилистых, изработанных рук.

Как управились с огородом, тут и вызов окаянный пришёл. Будто ждал он завершения уборки. Марина, как бумаги получила, сначала бегала по селу сама не своя – носили её лёгкие ноги будто по воздуху, не знала она устали, взгляд был счастливым, а потом, видимо, поостыла – нос задрала, что ты, гражданка Гисс! Была Масловой, но стала Гисс. Первым делом, как получила вызов, распрощалась с фамилией мужа.

«Так надо! Для получения документов!» – важно поясняла Марина.

Сама поменяла, и с Андрея начала требовать, чтобы он взял её фамилию, иначе, сказала, не разрешат переезжать. Правда уж это или нет, разбираться не было времени. Нечего делать, уехал Андрей Маслов в Булаево менять фамилию, все документы переделывать. Изводилась тогда мать. Всё думала: «Для чего затеяла Маринка менять фамилию Андрея! Так и норовит оторвать его от родной

сторонки, перебить ему крепкие подпорки. Долго ли протянет человек вдали от родных мест, коли душа его не на месте, не в ладу с горячей головой!»

Много порогов обил Маслов, возил в районный центр как-то даже Прасковью Семёновну – подписывали какие-то бланки. Не находила себе места женщина – всё пыталась достучаться до сына. В Булаево, прямо в паспортном столе, принялась воспитывать Андрея.

– Зачем ты, глупый, затеваешь такую авантюру? Фамилию удумал менять! – со слезами на морщинистых щеках говорила взволнованная мать. – Верно, несчастье будет ждать всю твою семью! Зачем ты разрешаешь Марине творить такое! Видано ли, чтобы люди брали фамилии чужие!

– Мама, это нужно не нам, а детям нашим! – срывался Андрей. – Что их ждёт в этой дыре!

– Да чо же ты такое плетёшь, дурень! Рази можно так о родной своей стороне отзываться! Не тому мы с отцом тебя учили, – пыталась образумить мать. – Гляди, сынок, кабы не пришлось ещё тебе дыру-то нашу добрым словом поминать! А она, поверь моему слову, родная, всё помнит, хоть и молчит. Согрета она, матушка, этими руками! Родная земляца во сне снится...

Мать вытянула жилистые руки, покрутила иссохшими кистями перед глазами сына. У Андрея стоял комок в пересохшем горле. Противостоять он не мог, Прасковья Семёновна смотрела твёрдым взглядом, глаза её были полны боли.

Много знала Прасковья поговорок и пословиц, доставшихся ей в наследство от матери, которая тоже имела хорошую память и могла каждое своё слово подкрепить умело сказанной прибауткой.

Вернулся Андрей с новым советским паспортом, а в нём фотография симпатичного курчавого мужчины и подпись: «Гисс Андрей Иванович, 1958 года рождения. Русский. Место рождения: село Полудино Северо-Казахстанской области Казахской ССР».

Мать, как увидела красную книжицу с серпом и молотом, принялась разглядывать документы, пахнущие типографией. Словно дорогой сувенир держала Маслова в трепетных руках.

– Рази ещё выдают со старым гербом? – любопытно рассматривая паспорт, спросила Прасковья Семёновна.

– Выдают, если в руках держишь... – нехотя ответил сын.

Не желал Андрей, чтобы мама видела новую фамилию своего ребёнка – чего доброго, начнёт опять поучать.

– Какой ты Гисс, Андрюша! Ты чо это! – взмахнула руками Прасковья Семёновна, когда открыла страницу с фамилией. – В своём ли ты уме, сынок! Ты же Маслов! Был бы жив отец, он бы тебя отходил дрыном! Рази мыслимо – мужчине фамилию менять!

– По-твоему, я зачем столько раз в райцентр мотался?

– Откуда мне знать! У меня уже всё в голове перепуталось!

– Мама, это необходимая формальность, чтобы выехать из страны и устроиться в Германии, – пытался объяснить Андрей, уставший от сбора бумаг.

– Половина села нашего воевала против фашистов, а ты в Германию подался, тьфу!.. Срам! – негодовала мать, вытирая несвежим носовым платком мокрые от слёз глаза.

– Что же это получается! Я тоже фашистка – мать ваших внуков? – услышала разговор Марина.

Она заходила в дом с вёдрами свежей колодезной воды.

– Какая ты фашистка, бог с тобой! Твоя родина здесь, дом твой стоит здесь – о чём ты!

– Я всё слышала! Отец Андрея воевал с фашистами, а теперь сам Андрей переезжает в Германию!

– Не путай! – заступился Андрей за Прасковью Семёновну. – Мама имеет в виду, что переезжаем к немцам.

– Всё я поняла правильно! Можешь оставаться в своей деревне! – крикнула Марина и выскочила на улицу, хлопнув дверь.

Андрей поспешил вслед за женой. Долго упрашивал он Марину не сердиться на слова матери. Марина не хотела идти навстречу свекрови, но пришлось мириться. Жить в селе оставалось недолго – можно немного потерпеть.

Доставляли боль Прасковье Семёновне и родные внуки. Не заметила женщина, как Светлана и Катюшка вымахали, превратились в симпатичных, стройных девушек. На них тоже повлиял предстоящий отъезд. Только и говорили о Германии. Особенно любила порассуждать о заграничной жизни Светлана, внешне похожая на свою маму.

Настряпала Марина беляши и отправила девочек с гостинцами. Как заметила Прасковья Семёновна в окне внучек, принялась скорее на стол собирать.

– Говорят, в Германии хлеб такими толстыми ломтями не нарезают, – заметила Света, увидев крупно нарезанный хлеб.

– То в Германии вашей, будь она неладна! – в сердцах ответила Маслова, подавая в красивой, расписной чашке смородиновое варенье.

– Неправильно всё у нас! – выдала Светлана, оглядывая скромный быт бабушкиной избы: старомодный шкаф с книгами, комод, в углу – иконы, доставшиеся от прабабушки. – Живём, будто в средневековье! – добавила внучка.

– А не мала ты рассуждать о том, правильно ли живём? – спросила Прасковья Семёновна, усаживаясь на панцирную сетку скрипучей кровати.

– Столетиями ничего не меняется. Кровать, на которой ты сидишь, ещё Ивана Грозного помнит.

– Надо же! – изумилась Прасковья Семёновна. – Когда ты была маленькой, с удовольствием спала на ей. Помнишь, как спрашивала у папки с мамкой: «Можно мне к бабе с ночевой пойти?»

– Я была маленькой.

– А теперь чо изменилось?

– Мы все становимся другими, но вокруг нас ничего не меняется: кровати вот эти с облешей, выцветшей краской, скатерти, вязанные ещё при царе Горохе...

– А тебе чо же нужно?

– Стильной жизни хочу, – повела глазами Светлана, нехотя отвечая на бабушкины расспросы. – Купили нам с Катюхой предки какой-то красный «Романтик». Я спрашиваю, почему красный? Чёрных не было, говорят. Все нормальные девчонки уже с заграничными магнитофонами ходят, музю гоняют, а мы всё, как дуры две, делим какой-то «Романтик». Катюха приставку «Денди» хочет, а папик ей говорит: «Потерпи, доченька!»

В сенях скрипнула дверь, в избу вошла Катя. Она долго возилась на улице с новеньким магнитофоном – перематывала кассету, искала любимую песню. В избе заиграла назойливая и незатейливая мелодия:

Фáина, Фаина́,  
Фáина, Файна, Фáйна-на́...

– Выключи ты этих обезьян! Спасу от их нет! В телевизоре с утра до ночи скачут как ненормальные! – недовольно глянула в сторону ало-красного магнитофона Прасковья Семёновна.

– Музыка даже нельзя! – возмутилась Катя, нервно щёлкнув по чёрным пластмассовым клавишам проигрывателя. – Когда уже свобода наступит!

– И тебе, Катюша, сильной захотелось быть? – спросила Прасковья Семёновна. – Вы и так сильные какие! Дать бы вам по коромыслу и за водой отправить! Всё польза была бы!

– Не сильные, а стильные! – смеясь, проговорила Светланка.

Развеселилась и насупившаяся Катя, понимая, что бабушка ошиблась. Девочек разобрал залиvistый, искренний хохот.

– Стильно – значит красиво, современно, – пояснила Катя, едва сдерживая смех.

– Современные больно все стали, поди же ты! Смотрю на Светланку – краситься стала, стрелки на глазах как мамка навела. Не рано ли?

– Не рано! – без раздумий ответила Света, будто давая отпор врагу. – Мне мама разрешает! – былой смех прошёл, Светлана говорила серьёзно.

– А, ну... тогда молчу, – Прасковья Семёновна подняла жилистые руки вверх. – Вот уедете в Германию, скучать не будете?

– По чему скучать-то? – ответила Катя.

– Да хоть бы по мине!

– По тебе... будем... – снисходительно проговорила Света, вновь повея глазами.

– По родному дому неужто не будете скучать?

– По вот этим лачугам, что ли?! – брезгливо посмотрела на потолок Светланка.

– По скрипучим половицам и эмалированным тазикам? – продолжила Катя за сестрой.

– Да хоть бы по им, – огорчилась Прасковья Семёновна.

На морщинистых щеках женщины появились слезы. Девочки собрались уходить.

– Погодите, я чаю вам так и не налила, – неожиданно спохватилась Прасковья, поднимаясь с кровати, – совсем и позабыла с вашей сильной жизнью!

Пока Прасковья Семёновна доставала припасённые специально для гостей белые чашки с изображёнными на них лебедями, девочки торопливо ушли, будто не хотели продолжать ненужный разговор.

– Куда же вы спешите? – только и успела сказать Маслова своим внукам вслед.

Долго смотрела Прасковья из окна, как Светланка и Катюшка, выйдя из дома, пытались включить музыку на своём красном магнитофоне, а потом зашагали по улице, взгромоздив на плечо проигрыватель.

«Сердце кровью обливается!» – думала Маслова, глядя на пустую улицу из своего окна. Старые стёкла немного искажали соседние избы, стоявшие напротив, сжимали крепкие дома, делали их покосившимся от времени. Казалось, вовсе не знакомые соседние постройки расположились на противоположной стороне дороги, а чужие, забытые хозяевами жилища – давно покинутые и брошенные. Жгли душу бездумно сказанные слова внучек. Не могла Прасковья Семёновна принять обидное название до боли родных стен. Вспоминала она, как надменно проговорила Света, брезгливо оглядывая чистые, хорошо побеленные стены и потолок. Всё повторяла Прасковья Семёновна: «Лачуга... Лачуга... Прожила я в ей, в лачуге, долгую и счастливую жись. Нечего мне от людей добрых скрывать. Всё, чего нажила – заработала честно, тяжёлым трудом. Здесь детей своих подняла на ноги, мужа проводила в последний путь. Боль свою и радость встретила в земляночке этой. Не было стыда за свою избу. Белила каждый год, красила неровные стены. Пироги здесь пекла сдобные. Помнит хибарка моя детский радостный смех и одинокие горькие ночные всхлипы. Всё выдержала я в родных своих стенах...»

Не спалось ночами, всё думы мучили Прасковью. Днём, за работой по дому время проходило незаметно, а вечерами накатывали тяжёлые мысли о предстоящем отъезде Андрея. Не хотела Маслова верить, что близится горькая разлука, но всё говорило, что день прощанья близок.

Сняла Прасковья Семёновна с широкого подоконника давно отцветшую герань, приготовила вату, распустила старую цветастую простынь на длинные лоскутки, принялась окна заделывать на зиму, а сама задумалась: «Не торопитесь в этом году Маринка окна утеплять...» Осенило Маслову, что сноха надеется до снега уехать. А если не получится, что тогда делать, неужели будут зимовать без ваты в рамах? Подумала Прасковья, да не стала ничего говорить ни сыну, ни снохе – пусть поступают как знают! Опять в обиды впадут, скажут, что лезет со своими советами.

Глухими осенними ночами одолевали женщину тоскливые мысли. «Вот и подкрадывается день расставания, – беспокоилась Прасковья Семёновна, поглядывая во тьме на икону, скромно стоящую в углу на божнице, – вот и подходит время одиночества. Видно, так уж суждено мне, помирать одной. Может, оно и к лучшему, чем вот так, на чужбине-то... Попеременяют фамилии, понатворят такого, что и детям не расхлебать ишо! Оторвутся от родных гнёзд, поломают судьбы. Ить тянет нелёгкая к чужим берегам! Каким мёдом там намазано! Срам один! Понакупали в городе видиков-мидиков, крутят фильмы о заграничной жизни – одни автоматы да девки с голыми ногами в их, больше ничо! Сворачивает бошки чужая жись людям нашим, так же хотят – жвачки мусолить да юбки носить – только зады прикрыть. Больше сроду ничо не надо. Стильная жись, как внучки в один голос твердят.. Всё оно вроде так и есь, а иначе посудить: что молодёжи ещё ждать от такой жизни-то?! Рази крепко нынче стоит на ногах человек? Всё развалили, всех по миру пустили, с протянутой рукой – ни денег, ни работы. Свобода зато, стиль! Какая это свобода, еси последнее отобрали у народа! Чо нам ждать тогда от непутёвого времени! Мы работали, старшее поколение, и чо? Пенсии не дают. Придёшь в совхозную контору, только и знает кассирша – рычит как сама не своя: “Денег нет!” В го-

роде то же самое, в сберкассе народу тьма – давка, ругань, а пенсии не дают. Вот ить как, дожились!..»

Встанет, бывало, Прасковья Семёновна ещё засветло, пройдёт по комнате, подойдёт к тёмному окну. На селе ни фонаря не горит, ни огонёчка среди глубокой ночи. Изредка вдали прогрехочет одинокий поезд, и снова тишина. А иногда на улицу выйдет. Скрипнет несмазанной петлёй, хлопнет дверью. Глухая тишина на миг прервётся, вдали звонко залает собака. Темно в окнах сыновьего дома лишь дичка тихонько качнёт ветвями на предутреннем ветерке, да пропоёт залиvisto неведомая птица. Поздно приходит осенний рассвет. Робко отступает долгая тёмная ночь. Посветлеет чёрное небо, на востоке забрезжит первый луч солнца. На холодном высоком небосводе не будет ни облака, а когда полностью рассветёт – поплывут тяжёлые свинцовые тучи, наполненные влагой. Вернётся Прасковья домой, озябшая от первого морозца, затопит русскую печь. Приметит Маслова на оконном стекле первую капельку дождя, следом упадёт вторая, третья. Только присмотрится слегка подслеповатыми глазами Прасковья Семёновна, дождь уже будет идти стеной – холодный, промозглый, чтобы вечером вновь вышло солнце. Будет догорать промытый нескончаемым дождём холодный багровый закат. Ещё один день отпустит человеческая душа.

Как ни отгоняла от себя тяжёлые мысли Прасковья, день отъезда приближался. Заметила Маслова, как однажды подъехал к дому сына красный «пирожковоз».

– Никак мебель сторговали, – проговорила Прасковья Семёновна, но опомнилась, что одна она в своей избе и обращается к себе самой.

Вышла Маслова на дорогу. По селу гулял ветер, поднимая на пустынных улицах пыль. Кружила опавшая листва. Лаял на незнакомых людей Тайфун – молодая овчарка, принесённая Андреем от соседей года полтора назад. Знакомые уезжали в Россию, а незадолго до этого оценилась собака. Предлагали Андрею забрать не только чёрно-подпалого щенка, но и мать – рыжую красавицу Аврору. Она была цепной, и Андрей не захотел её брать – вдруг будет тосковать. Построил щенку просторную будку. Катюшка и Светланка играли с Тайфуном, да и подростый пёс радовался, когда видел девочек. Аврору соседи отдали в соседнее село Рязкино – там жили родственники. Подрос Тайфун, освоился. Подпалый оказался умной собакой. Вроде и не дрессировали, командам не учили, а всё понимал он. Скажет Андрей строго: «Фу!», и Тайфун хвост поджимает, убегает в конуру, не слышно его и не видно.

Когда Масловы ещё держали скот, недавно посаженный на цепь щенок спас хозяйство от разорения. Повадились в ту пору шастать по чужим дворам непонятные люди: то украдут у соседки оставленную в мешках картошку, то новые шины у соседа сопрут, а однажды хотели залезть в сарай к Андрею. Глубокой мартовской ночью Тайфун поднял злобный, беспокойный лай, разбудивший всех собак в округе. Маслов всё пытался приглядеться в окно, а когда понял, что во дворе бродит кто-то чужой – сразу же выскочил, но три чёрные тени незнакомцев успели бесшумно сигануть через забор и уйти огородами. После этого случая раздобыл Маслов колючую проволоку и обмотал ею забор.

Говорила Семёновна, видя, как сын, рая жилистые руки, прикручивал колючку:

– Надо же, дожились! Добровольно из родных домов тюрьму городим!

Андрей хотел и на материн забор приладить проволоку, взял её много, с запахом, но Семёновна наотрез отказалась. Говорили ей, что время такое теперь – друг от друга отгораживаться приходится, только Маслова не хотела верить, стояла на своём – не буду, не хочу! Обмотайтесь ей хоть с головы до ног!

– Грузите поди чо-то? – поинтересовалась Прасковья Семёновна, увидев рядом с машиной двоих молодых парней.

– Холодильник, – неохотно отозвался худощавый паренёк.

Синяя спортивная шапка с непонятной вышитой надписью на английском языке стояла гребешком, на затылке болталась красная кисточка.

Маслова увидела Марину, торопливо открывающую калитку.

– Проходите, пожалуйста! – приветливо заговорила Марина.

Взгляд двух близких людей встретился, Марина растерянно кивнула свекрови, мол: «Здрате...»

Не решалась Прасковья зайти в дом. Подошла она к залиvisto лаявшему Тайфуну.

– Зачем надрываешься, дурачок! – Прасковья Семёновна приветливо погладила собаку по голове, и Тайфун, блаженно зажмурив глаза, завилял хвостом. – Скоро мы с тобой одни останемся. Пойдёшь к мне жить-поживать да добра наживать? Будем мы с тобой Ниолу Зимнего встречать, в снежки играть! Так ить, Тайфун?

Молодые люди вынесли на крыльцо старенький холодильник «Орск». Парень в синей спортивной шапке поправлял туго завязанную верёвку, чтобы не открылась дверца.

Собака опять стала надрываться лаем.

– Фу! Нельзя, Тайфун! – крикнула Марина.

Собака неуёмно лаяла на незнакомых парней.

– Куда теперь продукты денешь? – спросила Прасковья Семёновна.

«Пирожковоз» прервал лай Тайфуна звуком двигателя.

– Хотела было спросить у вас... – смущённо проговорила Марина, закрывая калитку.

– Рази я дорогу тебе прегражу! Чо такое говоришь! Можешь сносить всё к мне без оглядки!

Вошла Прасковья Семёновна в чисто убранный, пахнувший выпечкой дом.

– Стряпаешь? – спросила свекровь.

– Освобождала холодильник, нашла банку квашеной капусты... не пропадать же...

Оглядела Прасковья комнату. На полу стояли три клетчатые китайские сумки – Марина собирала вещи.

– Не знаю, что и брать с собой, – жена Андрея нерешительно поглядывала на свою родственницу и, опомнившись, спохватилась: – Давайте чай пить!

– Чо уж брать-то! У их, там, за рубежом всё своё есь. Мы по-ихнему, почитай, в обносках ходим.

Марина налила чай в красивые бокалы. Синяя посуда с белыми снежинками приятно смотрелась на столе опрятной, заботливой хозяйки.

– Мне же подружка видеокассету прислала из Германии!

Марина ринулась доставать из коричневой мебелиной стенки чёрную прямоугольную игрушку с двумя колёсиками в центре.

– Это чо? – не могла понять Прасковья Семёновна, прикладывая предмет к подслеповатым глазам и пытаясь увидеть картинки.

– Кассета, – рассмеялась Марина, – так не смотрят, нужен магнитофон.

– Где он есь? – не выпуская из рук чёрный предмет, Маслова продолжала разглядывать пластмассовую игрушку.

– Вчера ходили в клуб, смотрели всем Полудино, как немцы живут.

– А я где была? – спросила Прасковья, заметно обидевшись. – Может, и я бы глянула хоть одним глазом...

– Дали подружке квартиру и гражданство, поселили в городе Эйзенах. Кстати, нас тоже в этот город определили, – уходя от темы, продолжала Марина, – показывает, как они с мужем в жильё германском живут. Принесли полный таз разных сладостей, высыпали на пол – смотрите, мол, земляки! Красиво, конечно! Стены белые у них там, никакой копоти от печки. А магазины, говорит, сплошь коммерческие. Чего только в них нет! А одежда!.. Куртки белые, джинсы натуральные... У нас выйди в белой куртке! Грязью обольют! Цветы на улицах у них разные...

– У нас тоже цветы на селе, эка невидаль! – напомнила Прасковья, откусывая душистый пирожок с квашеной капустой.

– Какие цветы! – усмехнулась Марина. – Иван-да-Марья?..

– Хотя бы! – не сдавалась Маслова.

– А улицы у них чистые, везде порядок, культура.

– Ничо, у нас клуб вон есь – тоже неплохо. Контора в совхозе, магазин, станция под боком вон, – неопределённо кивнула Маслова головой, как бы показывая в сторону станции и магазина.

– И коровьи лепёшки! – раздражённо ответила Марина.

– Зато там у их тоска зелёная. О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет, вот оно чо!

– Да? А у нас прямо веселье! Скоро по миру пойдём с клюкой. Чего ждять?

Не стала Прасковья Семёновна спорить с родным человеком. Была в словах Марины какая-то неподдельная, горькая правда. Подумала Маслова: «Говори, чо хочешь! Я спорить сроду не буду! Только всей красоты не увидишь, всей жизни не повидашь – красот заграничных, тряпок фирмовых, видиков-шмидиков разных! Вытаращат свои глазищи да глядят на этих куколок германских, выехавших из петерфельдов, фурмановок да ивановок наших!»

– А где Андрей? Девочки где? – оглядывая полупустые углы избы, спросила Прасковья.

– В совхозе зарплату выдали за четыре месяца, – прихлёбывая горячий чай, сбивчиво говорила Марина. – Полную сумку набили рублями, поехали в город приставку «Денди» покупать.

– На кой чёрт она нужна вам в Германии? – перекрестилась Прасковья, чертыхнувшись, будто поймала себя на обмане.

– Что?

– Ну, «Деди» ваша...

– Продадим. В Полудино её можно «загнать»!

– Кто на ей будет играть? Председатель?

– Откроете игровую комнату, бизнес свой будет! Кооператив заработает! – засмеялась Марина и неожиданно посерьёзнела: – Я вам продукты в холодильник отнесу?

– Переходите к мне, коли мебель собрались продавать, – проговорила Прасковья Семёновна, задумавшись: «Заболталась совсем! Зачем же тороплю отъезд!»

– Лучше уж вы к нам перебирайтесь, – охотно ответила Марина, чувствуя, что Прасковья Семёновна смирилась с будущей разлукой, – ваш домишко вовсе скоро завалится. Мы уедем, а вы живите в хорошем доме. Он ещё лет сто простоит, да и приватизировали мы его – больше он не совхозный. Не то что ваша хибарка казённая.

– Не надо мне сроду ничо! Была у двора масленица, да в избу не вошла! А вам вот ишо скажу: за морем веселье, да чужое, а у нас всё горе, да своё!

## 6

Мебель распродали. Покупатели были из местных, называли цену, Андрей лишь махал рукой, мол, забирайте, чего уж там, знаем друг друга – всю жизнь в одном селе прожили! Кому достался шкаф, кто забрал стол.

Не хотела расставаться Марина с коричневой стенкой. Дверцы у мебели резные, шкафы удобные, вместительные. В одном отделе хрустальная посуда, в другом платья висели – всё на своих местах. Каждый день вытирала Марина пыль, берегла стенку. Купили её лет пять назад, через хорошую знакомую, которая ведала очередь в магазине «Мебель» в городе.

Только сейчас начала понимать Марина, что приросло её сердце к дорогим вещам. Может, не много с ними связано, только свыклась душа с предметами домашнего очага. Что-то мешало с лёгкостью расстаться с ними. Не задумываясь, продали стол, стулья и кухонный старый гарнитур, который порядком мешался на небольшой деревенской кухне. Маялась с ним хозяйка: вечно копилась сажа на серых высоких (к потолку поднятых) полочках. Часто приходилось Марине отмывать аккуратные дверцы гарнитура от копоти. Дымила русская печь не сильно, только углы, стены и мебель вымарывались быстро.

Распрощались с домашней утварью меньше чем за неделю, а когда дело дошло до сковородок, чайников, пиал да чашек с тарелками – тут сердце Марины сжалось от грусти и боли. Упаковывала хозяйка посуду в картонные коробки, готовясь к продаже, вспомнила вдруг, что большая эмалированная кастрюля с изображённой веточкой спелой рябины – подарок мамы в день свадьбы. Покрутила Марина свою любимую кастрюлю, вспомнила, сколько переварено в ней, перепреготовлено, и уложила в коробку.

«Продаю, будто не ведаю, что делаю!» – с укором говорила себе Марина, протирая влажной тряпкой каждую чашку. Чувствовало её беспокойное сердце, будто не соберутся они с Андреем, не решатся на мучительное расставание с близкими людьми. Да опомнилась Марина, отгоняя от себя тяжёлые мысли: «Что же я такое надумываю! Сколько пройдено препятствий, сколько испытаний пережила моя семья! Документы собрали и отправили, сдали экзамены по немецкому языку, вызов быстро получили, теперь вдруг не соберёмся! Ещё не хватало отказаться от своего счастья!»

Вспомнила Марина, как искали немецкие корни Андрея, как ворошили архивы. Узнали, что прадед был родом из Западной Белоруссии, но записан был русским, что бабка прадеда – полячка. Всё было зря, а потом заплатили усатой тётке за какую-то поддельную справку, и женщина, по договорённости, через уйму знакомых, написала в восстановленных документах прадеда националь-

ность «немец». Потом учили язык, и Марина сдала его неплохо, а муж общался с экзаменатором в консульстве в Алма-Ате на каком-то вороньем наречии, рассмешил седого интеллигентного немца до слёз, и тот поставил Андрею сдачу со словами: «Ваш немецкий превосходен! Ставлю вам положительный результат собеседования лишь для того, чтобы жители Германии так же посмеялись от души, как и я!» Долго Андрей потом вспоминал свой бесславный экзамен, хмуро приговаривал, по-стариковски ворчал: «Лучше уж не ехать сроду никуда, чем позориться!»

Марина настояла взять мужу фамилию Гисс, чтобы никто не усомнился в том, что Андрей немец. Повозмущался Маслов для виду, мол, ещё чего придумали – фамилию менять, но сгрёб документы в потёртую старомодную папку и поехал, как велела жена, обивать пороги разных инстанций.

День за днём пустел дом Андрея. Сиротела родная, обжитая изба, и казалось, с каждой вынесенной из дома вещью всё больше скрипели подгнившие, иссохшие половицы, всё сильнее дул осенний ветер сквозь незаделанные щели. Всё большее казалось расставание. Не раз Марина говорила сама себе, укладывая одежду в большие дорожные сумки: «Господи, за что мне испытания такие тяжкие! Дура, сорвала с места семью, а теперь ничего не могу поделывать!»

Проходило время, успокаивалось встревоженное сердце Марины, и казалось, что никакому отъезду не бывать – перенесут добро в другую избу и станут жить как раньше, с радостью и болью встречая новые дни.

Замерла жизнь вокруг. Даже Тайфун в последнее время притих – почти не лаял на незнакомых людей, приходивших частенько за вещами. Пёс только лениво рычал, не поднимая головы с тяжёлой своей лапы.

Часто вспоминал Андрей тихий и жаркий летний день, когда Марина закончила сбор бумаг для переселения. Под вечер, умаявшись на несносной жаре, она предложила съездить на озеро – охладиться в приятной, солоноватой воде. Андрей охотно согласился, оповестил девочек, решил взять с собой Тайфуна. Старенький мотоцикл «Юпитер-5» часто глох, надо было перебирать двигатель, но времени не было – длилась эта возня с отъездом и оформлением документов. Понимал Маслов, что легче продать технику, чем тратить время на ремонт, да и Маринка вся измотала нервы: «Продавай ты свой драндулет, нечего жалеть! В Германии машину купим!»

Доехали до Половинного, нанервничались, Андрей сразу принялся откручивать свечи, снял сиденье, разложил брезентовую сумку с ключами. Дети играли с собакой на берегу, а Марина первым делом пошла искупнуться.

Любила вся семья Масловых это огромное озеро больше остальных. Хотя рядом с селом был другой водоём – Питное, но Половинное полюбили уже давно. Берега пологие, дно мягкое, илистое, да и вода казалась чистой, хоть и немного пахла она сероводородом.

Как-то и не заметил Андрей, что девочки пропали из виду – заработался с мотоциклом. Тайфун, сложив голову на свои мощные лапы, лежал в тенике, лениво поводя ухом, как бы улавливая негромкий плеск воды и непрерывное стрекотание кузнечиков.

«По-мо-ги-те!», – раздался отдалённый, немного приглушённый крик Марины. – Све-е-е-та-а!» Маслов увидел перепуганную жену. Её голова виднелась

из воды. Метрах в десяти от мамы неуверенно, по-собачьи, плыла Катюша, пытаясь удержать на плаву Светланку. «То-о-о-н-е-ет!» – едва слышно, тоненьким голосом кричала Катя. Страх перехватил дыхание, тревожная мысль будто оглушила Маслова. Он бросил ключи. Сам не свой от ужаса, Андрей и не понял, как очутился в воде, как, размашисто загребая воду, подплыл к захлёбывающейся, обессиленной дочери. Рядом с хозяином плыл Тайфун, бросившись к утопающей Свете. Удивился хозяин, когда увидел собаку рядом с собой. Светланка одной рукой уцепилась за одежду отца, другой за шерсть Тайфуна. Так втроём и добрались до травянистого, заросшего мелким камышом берега.

С того самого дня Светланка не расставалась с Тайфуном – играла с ним и всё говорила: «Тайфун, ты мой спаситель! Ты самый настоящий друг!»

Заметил Андрей перемену в родном своём доме: Марина была озабочена предстоящим отъездом – нервничала и частенько срывалась на дочерей. Всё было не так: то подолгу гуляют – не дозовешься их, то помочь не заставишь, а ещё нужно собрать вещи. Пытался Андрей успокоить жену, только выходило слабо – он и сам был на взводе.

– Андрей, не трогай меня! – кричала Марина, когда муж пытался обнять её за плечи. – Неужели не видишь, что я занята! Ещё нужно много сделать! Вам хорошо, ты ходишь из угла в угол, дети музыку гоняют дни напролёт на улице – благодать!

– Не хожу я из угла в угол! – пускался в ненужные споры муж. – У меня тоже нервы на пределе!

В минуты надвигающихся склок Андрей говорил отрывисто, лицо краснело, но стихал он быстро, как порывистый степной ветер, и через несколько минут наступал покой.

– Очумели предки! – переговаривались между собой девочки с усмешкой в глазах, поглядывая на родителей. – Пока наша семейка покинет родное запечье, кое-кто, похоже, свихнётся.

## 7

В родительский дом Андрей перенёс непроданные вещи, а их было немало – старую рухлядь не покупали, но и крепкую, ещё приглядную мебель пришлось продавать за копейки.

Чёрно-белый телевизор «Берёзка» поставили на кухне, приладили к нему антенну – пусть себе хоть плохонько, но показывает. Мать, правда, не хотела его брать, всё говорила: «Да на кой он мне, этот ящик!» В зале стоял новый цветной «Рубин». Купила его Прасковья ещё в прежние времена – до развала Союза – года четыре назад. Была за теликом настоящая гонка – долго ждала Маслова свою очередь, но потом всё же получила в городе в магазине «Экран». Было это зимой, перед самым Новым годом. Мороз стоял тридцатиградусный, с ветром. Получить телевизор в тот холодный день помогла какая-то Маринкина знакомая – прорва и матершинница с подведёнными стрелками в глазах. Она провела с чёрного хода, через склад, показала Прасковье нужный товар. Пришлось сверху добавить червонец знакомой за помощь и пятёрку за грузчиков с машиной. Двое небритых мужичков (один из них был, кажется, после запоя – с трясущимися руками) доставили на стареньких «Жигулях»

двойке телевизор до вокзала, а потом ещё нанимала носильщика с тележкой для доставки телевизора к вагону электрички. Нанервничалась Прасковья в тот суматошный предновогодний день, а когда сын встретил её с покупкой на станции в Ярмах, уставшая мать закричала из тамбура на Андрея: «И чо ты смотришь на меня с перрона! Электричка минуту стоит!» Старался Маслов не замечать недовольства матери, был он воспитан хорошо – к родителям относился уважительно, не спорил.

## 8

Последние две недели перед отъездом в Германию семья Андрея жила с Прасковьей Семёновной. Близящееся расставание немного примирило свекровь и сноху. Вечно неуступчивая Марина не раздражалась на замечания Прасковьи Семёновны, хотя Андрей видел, что жена едва сдерживалась, когда мать заводила старую пластинку: «И зачем только замутили чистую воду! Жили спокойно, нет! Жизни заграничной подавай!»

– Не трави, мама, душу! – как-то Андрей отвёл в сторону Прасковью Семёновну, чтобы их разговор не слышала Марина. – Неужели ты не видишь, что нам всем сейчас тяжело!

Разговор между матерью и сыном был в сенях, так, чтобы их не слышала ни Марина, ни девочки – нечего знать чужих секретов!

– Я ничо плохого не сказала, – шёпотом заговорила мать, осторожно оглядываясь на дверь.

– Мы только вида не подаём, а сами страдаем. Ты ещё про за границу постоянно говоришь, будто специально.

– Да чо же я говорю-то! Неужто неладное? – и с любопытством в приглушённом голосе спросила, заглядывая сыну в глаза: – Не хотите уезжать? Вы же рвались в путь-дорогу, хоть куда, лишь бы из деревни! Понятно, чо же, жить в деревне – не видать веселья.

– Неужели непонятно, что мы устали от безденежья и нужды! – пытался объяснить Андрей, отвечающий, как на допросе в милиции.

– Какая нужда, сынок! Мы же на земле живём, она кормит нас, родимая! – не сдавалась Прасковья, отступая от Андрея куда-то вправо, будто изучая сына после долгой разлуки.

– Одной картошкой сыт не будешь. Девчонки выросли, краситься начинают, шмотки модные подавай, музыку, игры... Да и мы с Мариной пожить хотим нормально.

– Чо же это получается, мы, выходит, с отцом жили не так, как надо? Денег больших не заработали, но в люди-то вышли. Вас подняли – детей своих, воспитали неплохо, работать научили. Рази мало этого?

– Работать – это половина дела, – Андрей не хотел продолжать спор, – нужно ещё и отдыхать.

– Много вы наработали, устали! Одни гулянки на уме!

– Что, мы, по-твоему, должны у сохи с утра до ночи стоять?

– Была бы ишо соха! Теперь в совхозах и лопаты-то исправной не осталось, – заговорила Прасковья без нажима, будто вспомнила, что не стоило на родного человека напирать.

– О том и толкую, – победно заключил Андрей, деловито глянув на мать.

– Но счастья по заграницам не ищи, нет его там! Чо, там работать не надо? Один отдых кругом? Хоть убей, но поверю, что у нас беда, а там – рай на земле! Рассказывают немцы, у кого родня уже укатила, будто у их жизнь и вовсе не сладкая. Вот как! А вы здесь только и знаете: «В Германии так, в Германии сяк!..» Ничо хорошего в вашей Германии! Одни тряпки разноцветные... тьфу! Рай нашли! Смотри ж ты... срамота одна...

– Ты помнишь Ворошиловку, где мы грибы всегда с батей собирали? За озером стояло село, – сын пытался переубедить Прасковью Семёновну.

– Нашёл чо вспомнить! Лес поборол её, заросла она ишо когда, в семидесятых годах...

– Наше с тобой Полудино ожидает то же самое, вот что я тебе скажу!

– Правильно, еси мы все подадимся неведомо куда!..

– Тебя не переспоришь! – отмахнулся Андрей, торопясь завершить пустой разговор.

– И не надо спорить! Спорить он собрался! Криком изба не рубится!..

## 9

Не могла Прасковья Семёновна спокойно смотреть, как Катюша и Светланка играют на приставке.

– Чо доброго поломаете телевизер-то! Новый ить ни за какие деньги не купишь! – говорила Прасковья, искоса поглядывая на девочек. – Кинескоп посадите...

Первым вступился за дочерей Андрей. Марина молчала. Видно было, что снохе трудно сдерживать возмущение.

– Ничего страшного в том, что девочки поиграют! – заговорил Андрей.

– Так ить ты же сам говорил: Деди ваши гробят кинескопы.

– Не гробят, – не знал Андрей, как выкрутиться, глядя на дочерей, заворожённо уставившихся на человечков, бегающих в мерцающем экране. – Что ж теперь, и поиграть нельзя?

Сын понимал, что не может противостоять своим же прежним словам. Он вспомнил, как рассказывал Прасковье Семёновне какие-то слухи про телевизоры.

– Вы на кой покупали её, еси уезжаете? – подначивала Прасковья Семёновна, чувствуя, что Андрей заметно смутился.

– Девочки, выключайте приставку! – закричала из кухни Марина. – Бабушке двух телевизоров мало!

– Мне не жалко, но... – неумело оправдывалась Прасковья Семёновна, понимая, что между ней и снохой вновь возводится стена глухого непонимания.

Сколько бы ни тревожили семью Андрея мелкие ссоры, похожие на короткие летние грозы, сколько бы ни врывалось под крышу дома изнурительное непонимание между матерью и женой, наступал день прощения и взаимных уступок.

Решила Марина перед отъездом побелить в опустевшем доме кухню, освежить потолки в комнатах. Каждый год она проходилась удобной кистью с длинным ворсом – обновляла прокопчённый потолок, как следует забеливала стены густой, подсинённой извёсткой. Оставила Марина ремонт в этом году напоследок, чтобы не делать двойную работу – не хотела взбираться к потолку дважды. Но и отказываться от побелки не думала. Прасковья Семёновна не

узнавала сноху, всё принималась про себя, в мыслях, ругать Марину: «Даже белить с отъездом отказалась! Вот чо делают с людьми сказки о красивой зарубежной жизни! Ничего не надо, лишь бы скорее собрать вещички, да дёру к новым берегам!»

Однажды попросила Марина у Прасковьи Семёновны извёстку, а сама взгляд старалась отвести, смотрела на близкого человека виновато, будто каялась, что нельзя было срываться из-за игровой приставки. Понимала и Прасковья Семёновна – нужно помочь жене своего сына. Кто ей ведро подаст с белилами, кто стол пододвинет – мало ли забот при побелке. Андрею вечно некогда. В совхозе денег не платят по несколько месяцев подряд, но Андрей всё ходит на работу – с утра до ночи технику перебирают с бригадой механизаторов. Было бы чем комбайны да трактора ремонтировать! Запчастей нет. Починят какой-нибудь «Кировец», соберут из металлолома, и ходят довольные. Директор только обещает: будут деньги, вот только сдадим зерно. Сдавали, но карманы как были дырявые у рабочих, так лишний рублишко в них и не водился. Потом получали свои гроши и не знали, на что их тратить. То ли приставки детям покупай, то ли крупами запасайся. Чем только не пугали народ: то денег не будет, то сельмаг опустеет. А если деньги и получали, то целыми мешками. А что на этот мешок купишь? Однажды вовсе сдурели: принялись рассчитывать макаронами, сахаром и гречкой всякой. Людям-то деньги нужны, а они одно заладили: «Даём в счёт зарплаты! Другого выхода нет! Кризис! Реформы!..» Кому хорошо от этих реформ? Разным присоскам в самый раз такая жизнь. Вот только люди по миру идут! Скот в совхозе уже почти весь извели. Маринка перестала вовсе на работу ходить. Что там делать – смотреть, как животные погибают? Как режут их, а потом мясо сдают каким-то чеченцам для шашлыка на колхозный рынок в городе? У доярок и скотниц слёзы градом – жалко молодняк да дойных коровушек жалко! Родные они! Их режут, коровы жалобно мычат, а девки воют навзрыд: «Не троньте их, ироды проклятые!..» А что ироды! Мужики сами едва переносят муки душевные. Только глянешь на совхозных мужчин – сердце замирает: измажут руки в крови, а сами нервно курят, за сигареты хватаются, а пальцы в пляс идут от волнения. Материт народ все эти реформы и реформаторов вместе с ними в придачу, но поделать ничего не могут – жизнь пошла муторная, туманная какая-то, не разберёшь, где друг, а где враг.

Подумала Прасковья с радостью, будто ожгло душу старое воспоминание: «Напрасно я на Маринку поволокла с этой побелкой! Оставила она её напоследок, попрощаться, видно, хочет по-человечески!»

– Давай, Марина, подсоблю, – мягко заговорила Прасковья Семёновна, робко входя в пустую избу.

Взобралась Марина высоко под потолок и уже всю махала кистью, приладив ведро на старый стул, поднятый на шаткий стол.

Долго не решалась Прасковья подойти к пустому дому, всё с одинокой собакой Тайфуном говорила: «Бросили тебя хозяева? Сами по соседству живут, а тебе пустую избу сторожи! Ладно хоть кормят, не забывают! Ничо, скоро мы с тобой заживём! Проводим твоих хозяев, тогда вместе запоём, от души, вволюшку!»

Не дождавшись ответа от Марины, заговорила Прасковья:

– Надо Тайфуна к нам переводить, нечего ему пустой дом охранять.

– Мало ли, начнут избу бомбить. Свои же и двери, и окна растащат за одну ночь, – глухо проговорила Марина, стоя под потолком.

– Неужели нехристи у нас люди! – засомневалась Прасковья.

– А что, полно историй! Вон, у родителей моих в Фурмановке, как было дело: дом на два хозяина неприватизированный был, одна семья уезжала в Германию, а второй хозяин пошёл в контору совхозную и давай там в уши масло заливать директору, мол, расширяться надо, дети растут. Начальство недолго думало, а может, заплатил, в общем, дело закончилось тем, что занял второй хозяин весь дом. Живёт себе сейчас, приватизировал, а в той половине, где сосед – магазин открыл, сникерсами торгует. Вот она, частная инициатива называется!

– Бессовестность это называется, вот чо! – в сердцах не согласилась Прасковья.

– Или вот ещё случай, – Марина не стала отвечать на несогласие Прасковьи Семёновны, – кстати, это случилось весной прошлого года. Приехала в Фурмановку дочь из Алтайского края за своей матерью. Старушке было восемьдесят лет. Продали дом. Всё нужно было делать быстро и решительно. У дочери тяжело заболел муж в Барнауле, и она уехала на неделю, чтобы потом вернуться за матерью. Дня через два пришли новые хозяева и выставили старуху прямо на мартовскую распутицу, в чём была – в халате...

– Да ты чо это, Марина! – прикусила Прасковья от волнения край повязанного платка.

– Правду говорю! – поправляя сбившиеся из-под белой косынки волосы, ответила Марина.

– А чо же с женщиной той стало?

– Соседи приютили. Потом приехала дочка, забрала. Старушка хорошая такая, учительницей работала.

– Как же так можно-то! – всем сердцем не соглашалась Прасковья, заметно погрустнев.

– Выходит, можно! – работала Марина то быстрее, то периодически замедляясь. – Время такое пришло.

– Всякое бывало и у нас. Люди разные кругом. То соседи возмущались, что Андрюшка с пацанами яйца колотит в зарослях крапивы, то на сеновале кто-то копну всю перетрясёт, порастащит, то соседская кошка цыплят повытаскает. Но никогда мы не шли на подлость, не теряли человеческого облика.

– Нынче всё поменялось резко, – безрадостно подметила Марина, обратив внимание, что и Прасковья Семёновна принялась помогать.

Увлечлась Прасковья разговорами и даже не заметила, как оказалась у неё в руках кисть. Проворно работала женщина, с лёгкостью, будто соскучившийся по любимым игрушкам ребёнок. Заканчивала она белить левую от входа стену, вместе с Мариной переходили к побелке русской печки.

– Будто кто подменил людей. Чем хуже человек, тем он теперь считается лучше. Кто нас сейчас учит быть хорошими? Гляди, кого по телевизору изо дня в день показывают! В двух руках пистолеты. Патроны заканчиваются, он одно оружие выбрасывает да другое вытаскивает. Кино такое теперь нам кажут. Тьфу! – с беззлой обидой и болью проговорила Прасковья Семёновна. – Партия была – стала не нужна, плохая, неправильная. Чо же, научите, как надо жить мне правильно! Кинулись всё продавать. Камня на камне от страны не оставили, всё прахом пустили. Теперь у нас ни страны, ни армии, ни законов, одна торгашня

в иномарках ездит. Церкви в селе нет, одна водка и спирт «Рояль», в городе – «Амаретто» сплошное. В душах нет церкви, вот чо страшно! Комсомольские работники подались в бизнес, коммунисты превратились в демократов... Нет нам утешения, вот чо скажу!

Незаметно, за разговорами, пролетело время. Кухню побелили быстро. Перешли в комнаты. Потолки в них были не замаранными, лишь кое-где виднелась паутина, да в углах небольшая плесень – как ни топи избу, а сырость идёт от земли.

– Жись за рубежом другая – сытная да беспечальная, только корни надломите себе. Много ли счастья у перелётных птиц! Как говорил народ давече: чужбина – калина, а родина – малина.

– Да уж, малина, блин...

– Не корми блинами, напои прежде водой, – умело ответила Маслова.

Снохе только и оставалось, что махнуть рукой, мол, и связываться не буду.

## 10

Поднялась Прасковья Семёновна в день проводов задолго до рассвета – в половине пятого утра. Негромко дышала изба, посапывая неостывшей с вечера русской печью. Глухо потрескивали угли, за неплотно закрытой заслонкой шептал то гаснущий, то вновь разгорающийся огонь.

Всё было готово у Масловой. Ещё перед сном замесила она тесто для мясного пирога, подоспела и опара для булочек.

– Марина подыметса, поставим с ей булочки да пирог, – говорила сама себе Прасковья.

Заприметила она, что стала частенько разговаривать сама с собой.

Подбросила Маслова в печь ровные берёзовые поленья с белой, чистой корой. С новой силой загудело пламя, прожорливо охватившее дрова. Проворно подготовила Прасковья начинку для пирога. Всё есть для этого: и картошка крупная уродилась в этом году, и мяса в достатке – не обидел Бог, нечего говорить.

Как ни старалась не греметь чашками да кастрюлями – ничего не получалось. То ложка упадёт со стола от неловкого движения руки, то скалка покатится и ударится о металлический таз. «Надо не разбудить моих дорогих!» – думала Прасковья Семёновна, ругая себя за неловкость.

Из комнаты доносилось мерное посапывание девочек – Светланки и Катюшки. Негромко похрапывал Андрей. Одна лишь Марина спала тихо. Плотнее задёрнула старушка цветастую занавеску в кухне да прикрыла дверь комнаты, нежно глянув на спящих дорогих своих родственников.

Решила Прасковья поставить пирог, не дожидаясь Марины. «Сама всё сделаю, не переломлюсь! Им надо отдохнуть перед дальней дорогой», – подумала Прасковья Семёновна и принялась раскатывать тесто на большом противне.

Представила Прасковья, как садятся её дорогие да горячо любимые родные люди в городе в поезд. Пролетит их пассажирский состав мимо знакомых домишек небольшой станции Ярмы, мимо родного переезда. Махнёт девушка жёлтым флажком уносящемуся вдаль поезду. Покажутся на несколько секунд знакомые полудинские избёнки да скроются за лесом. Потом вдруг вспомнила Прасковья, что Андрей с семьёй едут до Москвы, а там уже самолётом в Германию.

– Сроду они мимо нас не поедут, – проговорила вслух Маслова, – где Германия, а где Полудино...

Подготовила Прасковья Семёновна большую старинную сковороду, в ней будет жарить котлеты, а сама вышла на улицу. Слезы душили, в горле стоял ком. Всё валялось из рук, ни к чему не лежала уставшая от безрадостных мыслей душа.

– Какая сила-то нужна, оставить дом родной! Мне в родных стенах вольготнее, за окном всё знакомое – домишки соседние, дорога, деревья, небо высокое и светлое. То ли неродные они уже нашему взору, то ли чо...

За окнами забрезжил робкий осенний рассвет, покачивались ветви большой раскидистой яблони, облетала последняя листва. На подоконнике кот намывал гостей, тщательно водил лапкой по полосатой мордочке.

Услышала Прасковья Семёновна над головой дальше курлыкание перелётных птиц. Запрокинула голову. В чистом осеннем небе показался клин диких уток.

– Улетайте, родные мои! Помните о своих краях! Скоро, видно, и мне собираться в дальний путь. Ничо не попишешь, вот чо!.. Провожу вас, да и сама начну готовиться в дорогу, – тихо проговорила Прасковья Семёновна.

На северо-востоке виднелись серые, низкие тучи. Холодный ветер проносил над головой жёлтые листья.

Берегла Прасковья сон своих дорогих детей. Всё не смела зайти и разбудить – пусть поспят ещё. Осторожно приоткрыла она дверь в комнату. На старой панцирной кровати спали внучки. Остролицая Катюшка уткнулась маленьким своим носом в плечо Светланке – курчавой светлоголовой девчонке.

«Повырастали, скоро замуж, видно, засобираются! Совсем взрослые стали...», – думала Прасковья Семёновна, нежно разглядывая дорогих своих внушек. Ни за что бы она не отпустила их от себя, всё бы отдала за то, чтобы завтра они так же спали в обнимку. Пусть бы спорили с Прасковьей Семёновной, доказывали, что в селе делать нечего, что отсюда пора ехать; пусть говорили бы, что ни за что не пожалеют – оставят эти «руины». Вот тоже, словечко привязалось! Откуда только нахватались слов таких! Вспомнила Прасковья Семёновна, как частенько Катюшка и Светланка теперь произносили это слово – «руины». Увидят, забор покосился у соседа – ничего удивительного, руины... Дверь в сенях провисла – понятно, руины же, чего ещё ожидать!.. Наверно, сама Прасковья Семёновна для них тоже руина. Как-то не выдержала она да сказала Светланке, которая бездумно назвала этим дурным словом мебель. Это случилось в тот день, когда они с родителями перешли на время к Прасковье Семёновне.

– Вот и всё, руины проданы, хижина закрыта – прощай, деревня! – заходя в дом, проговорила Света.

– Хижина – дом родной, с этим понятно, – чистя картошку, склонившись над ведром, сказала Прасковья Семёновна, – а вот чо такое «руины проданы», хоть убей – не пойму.

– Ну, забрали же ящики всякие, шкафы...

– Да ты сначала заработай их, а потом уж называй как тебе вздумается! – с нажимом в голосе ответила Прасковья.

На крик она не переходила, но и пропускать мимо себя обидные слова не хотела.

– Ты сама свою развалюху называешь как? – спросила Света.

– Как?

– Землянка – вот как!

– То совсем другое – земляночка, землянка. Гляди-ка звучит как – с теплом, ласково! Тоже мне, сравнила!

– Ой, всё! Началось! – махнув рукой, Светланка заторопилась выйти назад, на улицу.

– Ить надо же, умные все стали! От горшка два вершка, а всё туда же – руины!..

– Не надо вот только, ладно? – в роли семейного арбитра вошёл в кухню Андрей.

– А ты вообще не лезь под руку! Того гляди, огорошу скалкой! – не допуская возражений, говорила Прасковья Семёновна. – Между прочим, ты сам виноват – кто хозяин в доме?.. У доброго-то хозяина всякое семечко в своей скорлупе!

Скалки рядом не было, но Прасковья говорила с таким напором, будто, если надо, могла запустить и поварёшкой – за ней не заржавеет.

Слышала Прасковья Семёновна, что едут они в какой-то Эйзенах. Часто Марина повторяла название города, а недавно Маслова узнала, что этот самый Эйзенах стоит в Восточной Германии.

– Да это же в гездеэре!

Кто-то из полудинских говорил, что жизнь в районах бывшего ГДР плохая, мол, от нашей-то ничем особенным не отличается: и работы нет, и пьянствуют, одно хорошо – чистота везде и порядок, строгие законы.

– А что здесь удивительного? – не могла понять Марина. – Сейчас нет деления на ГДР и ФРГ.

– Там, говорят, жись плохая.

– Кто говорит?

Марина впадала в беспамятство и оглушающее сознание несогласие, когда слышала несправедливые сплетни о Германии, враньё тех людей, которые, как казалось Марине, и вовсе не должны делать выводы.

– Наши говорят, полудинские, – исступлённо отвечала Прасковья, будто пойманная на лжи, – родственники у многих наших в ей живут.

– Не знают, и говорят. Ни стыда у людей, ни совести...

С этого разговора между Мариной и Прасковьей Семёновной вопросы отъезда больше не обсуждались.

Подошла Прасковья Семёновна к старинной Иверской иконе Божьей Матери, которая скромно стояла на божнице в углу зала. Шёпотом заговорила старушка, поспешно крестясь сложенными шщёпотью грубыми пальцами, кривыми от тяжёлой, многолетней крестьянской работы.

«Помоги им в нелёгкой дороженьке! Спаси от бед в непростой жизни!» – шептала Прасковья, вытирая слёзы на морщинистом лице. Не давали они вглядываться в чудотворный лик. Дала Прасковья Семёновна волю чувствам. Сама не заметила, как начала всхлипывать. Услышала она, как кто-то вышел из комнаты, обернулась на осторожные шаги.

– Доброе утро, – тихо проговорила Марина.

Заспанное лицо снохи казалось очень добрым. Прошли нервные дни – время сборов, подготовки документов, быстрой продажи мебели.

– Мариночка, как же мне теперь быть одной! – проговорила Прасковья и принялась рыдать, закрывая лицо ладонями.

– Что вы! Мы будем вам писать письма. Пришлём посылку, вещи, сладости, – Марина обняла свекровь.

– Зачем они мне нужны, если вас рядом не будет! – отрывисто говорила Прасковья Семёновна. – Помру я без вас! А вам-то как... вам-то как... там совсем другая жись!

– Мы научимся жить. Потом и вас ещё заберём! – успокаивая, говорила Марина. – А пред иконами о смерти не говорите... не грешите! Сами сколько раз нас учили: нельзя Бога гневить!

– Никуда я не поеду! Ишо чо! – оживлённо заговорила Прасковья, словно сказала что-то спорное, но живо одумалась.

Утренней электричкой из Токушей приехала Лена. Позавтракав, Андрей растопил в огороде железную печурку – дома было жарко и не хватало места для готовки. На электроплитке варилась картошка, в печи стояли пирог и булочки, на газовой плите жарились котлеты. Прасковья Семёновна и Марина суетились, не успевали. Андрей пошёл на станцию встречать сестру, а перед этим затопил напоследок русскую баню, сработанную отцом. Хотелось ему почувствовать аромат хорошенько распаренного берёзового веника, сладко обжигающего кожу при каждом взмахе.

Так размечтался Андрей, глядя на разгорающееся пламя в печке, так разомлел от мыслей о предстоящем мытье, что едва не опоздал на станцию. Когда глянул на часы, было около десяти, а электричка прибывала в десять. Встретил Лену на дороге, ведущей к переезду.

Приезжала Ленка нечасто, но сегодня особый день. Много работала Лена, времени не было. Мыла полы в сельской школе, а вечерами приторговывала на дому жвачками и газировкой – таскала товар из Петропавловска. В общем, тянула нелёгкую свою судьбинушку, как могла. Жила одиноко, воспитывала двоих детей. Муж когда-то был, да пропал в беспробудном пьянстве. Не нужен такой никчemuшный человек. «Лучше уж без мужика вовсе!» – с улыбкой отвечала Лена на расспросы любопытных людей. Была она худощавой, симпатичной, крепкой, шустрой женщиной, походила на мать.

Лена, как увидела пустой двор братового дома, прослезилась – жалко стало хорошую избу. Не хотелось ей расставаться с родными людьми, любила она племянниц – никогда не приезжала без подарков. Были Катюшка и Светланка помладше, привозила им то платица ситцевые, то костюмчики спортивные, а если не везла ничего – то обязательно килограмма два конфет на стол высыплет: «Жуйте, девчонки!»

Приехали на своей белой «шестёрке» из Фурмановки родители Марины. Мать, Ольга Генриховна – очень полная, неповоротливая пожилая женщина, страдающая сахарным диабетом, потливая, тяжело дышащая. Отец, Сергей Карлович – симпатичный, бравый, представительный мужчина, вечно нервно моргающий, будто в глаз попала соринка и он не может нормально смотреть.

– Эх, невестушки вы мои! – Ольга Генриховна принялась расцеловывать девочек. – Совсем большие! Красавицы!

– Началось! – проговорила то ли Светланка, то ли Катюшка, когда Ольга Генриховна прилюдно принялась нахваливать внучек, было заметно, что девчонки стесняются внимания.

Подъехал к большому дому директор совхоза на своём УАЗике. В плохом настроении был в последнее время Николай Алексеевич. Ходил чернее тучи. Понимали его люди – совхоз трещал по швам, как старая гимнастёрка, с которой директор не расставался уже лет пятнадцать. Понятна его боль: скот резали за долги, денег у государства не допросишься, солярки нет, бензина нет, материалов нет, зерна для будущей посевной нет, запчастей нет, отремонтировать коровник не на что, и настроения, конечно, тоже нет. Измотался Николай Алексеевич, осунулся, постарел, его нестарое лицо уже изрыли морщины. Снял шляпу директор и, поклонясь односельчанам, зашёл в дом.

Но сегодня Николая Алексеевича будто подменили – заулыбался, повеселел. Грустная весёлость – люди заметили сразу: глаза полны тревоги. Сколько народу он проводил за последние два года – не сосчитать! Уезжают лучшие механизаторы, столяры, плотники, электрики. А ты, Николай Алексеевич, сиди да помалкивай, пока с должности не сняли!

Стол в семье Масловых-Гисс ломился от угощений. Кухня была заставлена кастрюлями и сковородками. В зале стоял большой раскладной стол, на котором поместились тарелки с котлетами и картофельным пюре, стояло большое блюдо с солёными грибами, огурцы, помидоры, нарезанное сало, пироги. Гостей набилось в избе тьма – пришло много односельчан, с кем работали Андрей и Марина, соседи и друзья. Открыли по традиции «Столичную», разлили. Кто-то принёс усилитель и колонки.

– Что-то Андрея не видно? – спросили гости.

– Из бани теперь его не выманишь калачом! – проговорила Марина и пошла искать мужа.

– Пусть моется мужик, что ты! – раздался голоса. – Где он настоящую баню теперь найдёт!

– Сауна – вот что у них там, за границей.

– Сауна... надо же! – безучастно проговорила Прасковья Семёновна, как бы отрицая существование саун.

Долго готовился Андрей к мытью в бане. Ещё в летнюю пору заготовил веники, дрова наколот по теплу. Паленья не жалел, подбрасывая их в печурку, нагнетал жар. Вышел на воздух охладиться, а тут вдруг Тайфун, виляя хвостом, к ногам жмётся.

«Кто же тебя с цепи отпустил? Или сам как-то снялся? А-а! Неважно, – подумал Андрей и присел на крыльце бани. – Иди сюда, псина. Чувствуешь, что расстанемся скоро?»

Растрогался Андрей, подметил, что в последнее время стал сентиментальным: чуть что – слёзы наворачиваются. Песню ли старую услышит, знакомую с детства, отца ли вспомнит, или подумает о приближающемся отъезде, всё одно – плакать хочется. На душе светлеет, когда невольно бежит по щеке слеза. А пёс всё понимает, как близкий друг. Стоит расчувствоваться украдкой, пока не видит никто – смотришь, Тайфун под ногами вертится. Передними лапами упрётся и тянется к лицу, будто хочет обнять хозяина своего. Маслов и сам не знал, может, старость подкрадывается – в спину дышит, а может, просто разлука близка, только всё чаще ком в горле перехватывал дыхание. Вспоминал он, как отец учил его косить да скирдовать сено, брал с собой на покосы. Рядки у бати

получались ровными, трава ложилась как по линейке – стебелёк к стебельку. Часто останавливался он, брал брусок, припасённый в кармане спецовки, и, как он сам говорил, «подводил» литовку – ставил обушком вверх, конец косовища упирал в землю и махал бруском по лезвию, от шипика до острия так проворно, что Андриюшке казалось, будто отец не касается ножевища – только звонко и мягко пел металл. Вечерами учил Маслов-старший своего сына отбивать косу. Старательно учился Андриуха мужскому, нелёгкому делу. Сначала получалось не ахти как – часто не скашивал, а вырывал траву, собирал в «горку», но с каждым разом рядки становились аккуратнее. Вскоре сын уже не отставал от отца. На пару они шли, в такт взмахивали, одновременно отводили левый локоть, с лёгкостью заводя правую руку. Над полем стоял сладкий и терпкий запах скошенной травы, а из прихваченного с собой транзистора доносилась любимая, грустная песня тех лет, горячо полюбившаяся Иваном – «Ты моя мелодия».

От грустных и тёплых воспоминаний расплакался Андрей, сидя на крыльце бани. К нему виновато подошёл Тайфун и принялся слизывать своим тёплым, шершавым языком солёные слёзы со щёк.

«Всё понимает, дуралей!» – смахивая ладонью мокрядь, подумал он.

Прасковья выносила на улицу ведро и заметила, как сын сидел на ступеньке и плакал, а возле него был преданный пёс и слизывал слёзы. Ведро едва не выпало из рук женщины.

– Не могу я, Господи! Не могу! Сил моих нет видеть муки сына своего! – запричитала Прасковья, стараясь быстрее уйти в дом, чтобы не помешать Андрею.

Она принялась искать, сама не зная зачем, старомодное тёплое платье с тяжёлой брошкой на вороте, будто желая поскорее нарядиться для проводов, но потом с силой захлопнула дверцу шкафа, пытаясь отогнать от себя преждевременную мысль. Глаза застили слёзы, руки безостановочно и судорожно тряслись.

«Ну ладно, ладно, хватит, Тайфун. Гуляй!» – и Андрей, оттолкнув повизгивающего от доверия пса, встал и побрёл в баню. Но пёс не хотел отпускать хозяина, он уцепился зубами за штанину. «Пусти, говорю, фу!» – Андрей, не рассчитав, пнул Тайфуна по грустной мордахе. Собака, поджав хвост, обиженно пошла в сторону будки. Почувствовал Маслов не то жалость, не то вину перед своим доверчивым и преданным псом. «Ну не обижайся! – хозяин принялся гладить Тайфуна по голове, словно извиняясь за неосторожность. – Друг ты мой! Не забуду я тебя никогда!» Слёзы катились по щекам Андрея, сердце отзывалось глухой болью. «Всё, всё, псина! Надо идти мыться. Дел сегодня ещё много, ждёт дорога меня дальняя, прости...»

Жаркий пар пощипывал невысохшие глаза, парилку уже заполнил смолянистый дух, Андрей, чтобы не выстужать нагретое помещение, юркнул в родную свою баню как под тёплое бабушкино стёганое одеяло. Как следует погрелся, по телу потекла лёгкая нега. Когда почувствовал заполняющее каждую жилку томление, принялся колотить себя заранее распаренным берёзовым веником, да так, что кожа покраснелась от хлёстких ударов. Сладко покряхтывал, словно делал большую работу, от которой получал неслыханное удовольствие. Жадно вдыхал Маслов терпкий запах берёзы, прилипали к его спине размятые, разопревшие листья веника. С каждым взмахом становилось в парилке всё жарче, но без остановки ходили по распаренной коже разогретые в горячей воде листья. От

жара у Маслова начало жечь неприкрытые банной шапкой уши, но он, охладив их водой, решил попариться вдосталь, чтобы подольше запомнить расслабление, приходящее от горячего марева, надыхаться травянистым запахом веника. И вдруг Андрею привиделся отец. Ещё совсем не старый, крепкий. Иван Николаевич смотрел сквозь туман, наведённый паром. У отца не щипало глаза.

– А ну-ка, я прилягу на полок, а ты, сынок, пройдишь как следует веничком, – спокойно сказал Иван Николаевич, – соскучился я уж больно по нему. Да парку-то поддай!

Андрей послушался отца – набрал ковш холодной воды и плеснул на камни.

– Кто же так паром балуется! – глухо заговорил отец, отвернув лицо к стене.

– Ты бы ещё таз воды вылил!

– Как надо-то? – недоумевал Андрей.

– Помаленьку. Надо подготовить организм. Веник должен быть без торчащих прутьев. Парь неторопко.

Блаженно закричал Иван Николаевич. Прошёлся Андрей по спине, замечая на теле отца кровавые следы от ударов не то плетью, не то кнутом.

– Откуда у тебя на коже кровавые следы? – перестал Андрей хлестать веничком, стоял в стороне от свесившего ноги отца. Пар мешал смотреть на Ивана Николаевича.

– Это расплата за все свои ошибки.

– Тебе не больно? – не в себе от увиденного, спрашивал сын, жмурясь от едкого пара.

– Как же не больно. Ещё как больно, – без эмоций, тихо отвечал Иван Николаевич. – Может быть, и тебя чему научат мои раны. Дай, думаю, покажусь сыну родному. Пусть он глянет хоть одним глазком на меня.

– Как это, расплата за ошибки?

– А так, сынок! Всё, что ты делаешь, всё идёт на весы, всё в зачёт. Не дай чаще с плохими поступками перевесить.

Андрей смотрел на отца и не мог понять, о чём говорит Иван Николаевич.

– А мы, батя, в Германию надумали уезжать. Жизнь поменялась круто: в деревне делать нечего – разор кругом, – заговорил Андрей, словно стараясь быстрее поведать о последних новостях.

– Всё видно нам, как вы здесь живёте... Со всех спрос будет...

В раздевалке послышался шорох и глухой стук – пришла Марина. От неожиданности Андрей невольно вздрогнул, забыв о разговоре с отцом.

– Вчера нельзя было помыться, обязательно сегодня? – заговорила жена, распахнув настежь скрипучую дверь парилки.

– Ты чего двери-то расхабарила! – недоумённо сказал Андрей, глядя на Марину.

Веник лежал на полке, Маслов гремел эмалированным тазом – собирался обмываться прохладной водой.

– Ничего! Полный дом гостей, все его ждут, а он веничком забавляется! Нашёл время! – с нажимом говорила Марина, переходя на крик. – Скоро на поезд собираться!

– Щас, иду!

– Идёт он! – проворчала Марина, хлопнув дверью.

Маслов оказался в родном доме красный, с полотенцем на шее. Волосы торчали дыбом. Из головы долго не выходил странный диалог с Иваном Николаевичем, но потом растворился, словно горячий пар в прохладном осеннем воздухе, выпущенный из бани.

– У-у! Андрей Иваныч пожаловал! – заговорили за столом друзья и соседи.

– Здравсте! Не ждали? – весело гаркнул было Андрей.

Но Марина его пресекла:

– Чего спектакль устроил?! Проходи не мешкая!

Андрей посмотрел на Марину с укоризной. Прасковья Семёновна тоже глянула на сноху неодобрительно.

Незаметно оказалась в руках соседа видеокамера с записывающей кассетой. Колька из совхозной конторы давно хвастал, что прислали ему родственники из Германии настоящую видеокамеру, только вот, переживал он, некого на неё записывать. Ему говорили: запечатлей село родное да отправь видео родственникам – пусть полюбуются, как живут земляки.

– Предлагаю сделать обращение жителям германского государства! – перебивая шумную компанию, сказал Колька. – Внимание!.. Мотор!.. Буду записывать каждого по очереди! Готовимся, товарищи!

– Согласно купленных билетов! – донеслось откуда-то из угла.

– Первому предлагаю выступить директору совхоза!

– Как официально-то! – раздался смех.

– Да убери ты её, проклятую! – смущённо сказал Николай Алексеевич и заметно посерьёзnel.

Колька камеру не убрал.

– Ну что, дорогие мои... Дети мои... Земляки... Не умею красиво говорить! – волнуясь, сказал Николай Алексеевич. Руки его мелко дрожали, рассеянный взгляд бегал по внимательным взорам односельчан. – Как теперь обращаются, дамы и господа!

– Господа все в Берлине! – кто-то выдавил, смеясь. – У нас товарищи!

– Да помолчи ты, леший! – перебили полудинцы неугомонного выскочку.

– Трудно выразить словами, что я чувствую, когда провожаю в другие края своих земляков. В моей душе боль, а сердце не знает покоя. Дорогие мои, пусть новая страна будет для вас родным домом, но не оставляйте хотя бы мысленно вот эти избушки, виднеющиеся за окном, не забывайте хлебные поля, наших невестушек-берёзок... Не могу я... Сердце болью отзывается!.. – задрожал голос директора, он прикрыл глаза изработанной, жилистой рукой. – Андрей и Марина, а также ваши дети! Мы вас горячо любим! Горько понимать, что наше хозяйство покидают добрые люди! Желаю, чтобы дорога вашей жизни была прямой, чтобы на новом месте вы жили в достатке и не испытывали нужды, а если будет трудно – знайте, что двери нашего совхоза для вас открыты!

– А ещё говорит, что не умеет речь толкать! – сквозь шум разговоров выкрикнул отец Марины, нервно проморгавшись.

Все дружно засмеялись, а директор смахнул произвольную слезу.

– Не знаю, что и сказать-то, – смущённо пробурчал Андрей, глядя в объектив видеокамеры, как человек, которого пригласили в студию программы «Поле чудес», – всем своим... нашим землякам передаю привет! Живите... богато, мирно... чтобы...

– Чтобы ни-ни у нас! – послышались задорные выкрики, кто-то громко захохотал.

Прервав речь Андрея, из колонок грянул марш «Прощание славянки». Музыка записывали для Девятого мая, чтобы в клубе совхоза чествовать ветеранов, а включали теперь часто – когда провожали очередную семью. Появилась в Полудино добрая и грустная традиция – под торжественный марш провожать земляков.

Отгремела прощальная музыка, прозвучали добрые напутствия.

Зашёл Андрей в свою одинокую и пустую избу. Сиротливо стонал в печной трубе осенний холодный ветер, на окнах показались мелкие капли дождя. Только сейчас заметил Андрей, какие огромные щели в деревянном полу, какие неровные стены в его доме. Жёлтые обои в зале с изображением цветов казались хозяину родными. Их клеила Марина лет пять назад, когда достала в городе по знакомству несколько рулонов новых обоев, поступивших в магазин. Отодвигали всю мебель тогда, намучились.

Душу Андрея жгло воспоминание о разговоре с отцом. Будто не договорил Иван Николаевич, не сказал что-то важное – может быть, самые главные слова, приготовленные для сына, хранимые в сердце невыплаканной болью.

Заметил хозяин оставленный на подоконнике отрывной календарь. На оборванном листе было написано: «27 октября 1993 года. Восход солнца в 7.26. Заход – 17.00...». Это был последний день жизни в родном доме.

Грустный взгляд скользил по свежепобеленной печке, по стенам и упёрся снова в одинокий листок календаря.

– Пора ехать, отец ждёт!

За спиной послышалось приглушённое эхо. Андрей нехотя повернулся на знакомый голос. Позади стояла Марина. Она тихо вошла в избу, заговорила буднично, будто торопила мужа на работу. В голосе слышалось не то сожаление, не то боль. Не хотел Андрей уходить, долго пытался запомнить стены, мелкие капли осеннего дождя на оконном стекле, дорогу, виднеющуюся за окном.

– Пошли. Долгие проводы – лишние слёзы, – заговорила Марина. – Родители в город отвезут, на поезд посадят!

– Я думал, что они поедут с нами до Москвы, чтобы в самолёт посадить, – попытался съязвить Андрей, но увидел недобрый взгляд жены.

Не хотел Маслов мириться с предстоящим отъездом, поэтому и поёрничал так глупо, вызвав недовольство Марины.

Приедет лет через пять в изменившееся село Маринка Маслова. Какая ещё Маринка – фрау Гисс! Посмотрит другим взглядом на родные стены. Будут в этом доме жить совсем другие люди. Глянут на похорошевшую Марину холодным взглядом, а сказать им будет нечего холёной незнакомке в импортных шмотках. Кто знает, может, и дома этого уже не будет...

Скромные пожитки (всего-то четыре дорожные сумки и пакет с котлетами в путь) были аккуратно уложены в багажник машины. Прасковья Семёновна крутилась возле автомобиля – беспокоилась, всё ли собрали в дальнюю дорогу. С Катюшкой и Светланкой попрощалась как-то скомканно: наспех расцеловала девчонок, вытерла платком красные от слёз глаза. Не хотели девочки церемоний. Их ждало увлекательное путешествие, похожее на игру в приставку «Денди», а слёзы бабушки лишь отвлекали от предвкушения наступающих перемен.

– Может, мало котлет-то? – пыталась хоть что-то спросить Прасковья у сына.

Взгляд Андрея был растерянным. Шёл сын к машине сам не свой. Не видел он ничего перед собой.

– Да что ты заладила, сватья, про котлеты! Они же не на необитаемый остров едут! – сказала Ольга Генриховна, усаживаясь на переднее сиденье «Жигулей».

– Ладно, будь здорова, сватья! – простился Сергей Карлович, захлопывая дверцу машины, как бы поторапливая прощающихся.

Мешал нудный мелкий дождь, принявшийся стучать по крышам сараев и избёнок, напоминая нежданную, ворчливую старуху-соседку, повадившуюся ходить по домам.

– Андрюша, сынок!.. Мариночка!.. – сложила руки домиком Прасковья Семёновна и заплакала.

– Не мокните под дождём, – проговорила Марина, обнимая свекровь, торопясь скорее усесться в машину – спрятаться от дождя.

– Вот чо натворили мы! Разорили гнёздышко-то, в дальние страны заторопились! Да на кой они нам?

Прасковья Семёновна расцеловала сноху, потом принялась как малого ребёнка целовать Андрея, сжимая в крепких объятьях. К брату подошла Лена и тоже обняла.

– Береги маму, – взволнованно проговорил Андрей. – И вот ещё что: накажите Николаю Алексеевичу, чтобы прислал людей – окна надо бы в доме забить досками... растащат ведь, дом-то... А лучше поговори, может, мама перейдёт в наш дом. Он поновей, у нас теплее... только помоги ей заделать дыры в полу – меньше дуть будет...

– Всё сделаем, как наказывал, – сквозь слёзы проговорила Лена. Возле её красивых глаз проступали морщинки. Сестра заулыбалась, подавляя всхлипы нахлынувшего рыдания. – Поезжайте с Богом! Ни о чём не думайте!

– Рази своей земли мало нам? – причитала старушка, вытирая выцветшие глаза тёплым новым платком, специально надетым по случаю отъезда сына. – Чо же мы безродные какие-то... разъезжаемся от земли родной подальше, бежим от её, а она нас кормит...

Едва сдерживался Андрей, глядя на плачущую мать. Хотел он успокоить родного человека, но стоило ему тронуть содрогающееся плечо, слёзы наполнили белой пеленой, не давали смотреть на беззащитную маму, прикрывающую родные свои мокрые глаза кончиком платка. Прасковья Семёновна казалась в минуты прощания ниже ростом, сгорбленной. То ли горе её состарило, то ли сын впервые заметил изменения.

– Что ты, ну! Не плачь, родная! – пытался проговорить Андрей, подавляя рыдания. – Будем писать друг другу! Будем... – и, не договорив, Маслов повалился на колени перед Прасковьей.

Обожгли его душу детские воспоминания, как однажды мама не разрешила ему гулять, когда Андрей в школе получил «единицу» и вдобавок на горке порвал форменные штаны. В тот день он стащил с божницы старинный молитвослов, оставшийся от бабушки, Марьи Ермолаевны, и со зла сжёг потрёпанную, с загнутыми страницами, пожелтевшую от времени книжицу в огороде. Долго мама искала её, всё донимала отца расспросами – не попадалась ли на глаза. Андрей быстро смикитил, что о пропаже лучше помалкивать. И он молчал, а когда стал

взрослым, мысли о содеянном мучили его всё чаще. Уже в перестройку Маслов пару раз ездил в город специально, чтобы поговорить с батюшкой, покаяться. Стало Андрею легче от душевного разговора в церкви, но Прасковья Семёновна и по сей день нет-нет да вспоминала молитвослов – всё думала, что сама его кому-то отдала да потеряла.

– Прости меня за молитвослов, мама! Прости! – стоя перед матерью, рыдал Андрей. – Это я его сжёг в ог-г-городе, ещё школьником был. Штаны в тот день порвал... С п-пацанами катались с горки... Каялся я, прощения просил у Господа, тольк-к-ко вот тебе не мог сказать...

– Времечко пришло твоё. Легки повадки, да тяжелы отвадки, – Прасковья прижала к себе лицо сына. – Бог простил, и я прощаю! Всё обладится! Поезжай за семьёй своей, ждёт она тебя. Да не думай ни о чём. Взались жись перетолковать – и жалеть не к чему.

Пронзительно засигналила машина. Времени до поезда оставалось много, но Андрея, видимо, торопили женщины, мол, нечего слёзы разводить – попрощались, и довольно.

– Ну вот, пора вам ехать. Оставляй прошлое с лёгким сердцем.

Заторопился Андрей, резко открыл дверцу, проворно уселся, словно спеша поскорее пережить мучительные минуты, и потом долго смотрел вслед матери, обернувшись назад. Прасковья не уходила с дороги, всё провожала отходящий автомобиль. Прижавшаяся брюхом к земле машина поползла по селу, осторожно преодолевая ухабины. На цепи, не зная передыху, заливался Тайфун, будто прощался с оставившими его хозяевами.

Что-то не сделал Маслов, всё думал он под едва уловимый говорок двигателя: то ли к Тайфуну не подошёл, то ли к отцу на могилку не наведалься. Оставалось какое-то незавершённое дело, и казалось, попроси сейчас Андрей повернуть машину в обратный путь – все бы его поняли. Дело это заронилось в родную землю спелым зёрнышком, прорастёт оно тёплой встречей с мамой и сестрой, с домом своим – большим и светлым, с Тайфуном, с односельчанами, со всем, с кем или чем Андрей связан корнями.

## 11

Уже почти месяц, как не находила Семёновна себе места, ждала весточку. Разболелось её сердце – всё ныло оно с того самого дня, когда пропала за поворотом машина, увозившая Андрея с семьёй. Часто просыпалась Прасковья глухими ночами, чувствовала, что сердце как будто переставало биться. Перепугается, поднимется с трудом на кровати, зашепчет «Отче наш», грудь вроде разожмётся. Ставила возле себя на шаткой табуретке «Корвалол». Почувствует – плохо, примет лекарство. Только какой уж сон, после страха! Боялась Маслова, что уснёт, а утром не проснётся.

И вот, спустя недели четыре, у дома Прасковьи Семёновны показалась невысокого роста женщина. Тайфун не облаял её, как обычно всех незнакомых, а, странно виляя хвостом, заскулил и, повизгивая, завилял хвостом. Озябшими на морозе руками почтальон вручила письмо из Германии. На красивом конверте с наклеенными разноцветными марками было что-то выведено не по-русски. Дрожащими пальцами вскрыла Прасковья конверт. Слитным и быстрым почерком писал, видимо, Андрей:

«Здравствуй, мама! Низкий поклон вам, дорогие наши земляки! Все мы живы и здоровы, но беспокоюсь! Прошло несколько недель с тех пор, как мы покинули родной Северный Казахстан. Ещё ничего не понятно – куда мы приехали. Наши души полны впечатлений, о которых стоит написать отдельное письмо. Да, здесь хорошо обустроена жизнь – везде порядок и чистота, и, похоже, нет главного – души. За лицемерными и холодными улыбками кроется какая-то пустота. Неторопливая и размеренная жизнь – лишь часть одной большой иллюзии, кажущейся жизни, которая всех здесь устраивает. Здешняя жизнь – игра. Называется она – тоскливый самообман. Может быть, я много ещё не понимаю и вижу лишь то, что лежит на поверхности.

Хочу ступить ногами на родную землю! Сейчас, наверно, Полудино замечено по окнам снегом! А может, и нет... Через месяц Новый год! Пора готовиться, мама! Ленке – привет! Как наш Тайфун? Уже, поди, дома живёт, в тепле? Забрала с улицы, чтобы не скучать? Знаешь, мама, мне часто в снах является отец... Наш папка! Никогда его не называл ласково... Мне кажется, за это время, как уехали, я сильно изменился – повзрослел, что ли... Стал открытым... Нет, с женой и детьми не могу вот так говорить, как с тобой – запросто. Может, просто в письме легче быть душой навывкат?

Да, едва не забыл продолжить: часто является мне отец, разговаривает со мной. Ты меня этому не учила, а сама-то ты молишься и молитвы знаешь – помолись, пожалуйста! Ждёт он нашего внимания. Я ведь так и не успел навестить его могилку...

Поклонись дому нашему, отцову деревцу да передай всему селу родному – пусть простит оно... Люблю я наши просторы – поля бескрайние, озёра солоноватые... Всё... плачу я... не могу...»

Долго перечитывала Прасковья Семёновна родной почерк сына прямо во дворе и, когда оторвалась от письма, встретилась взглядом с ожидающими объяснений собачьими глазами. Удивилась, что поняла немой вопрос.

– Всё хорошо, Тайфун. Добрались они, устраиваются, – утешила Прасковья то ли себя, то ли собаку.

Тайфун выслушал внимательно, но как будто с недоверием.

– Не веришь? На, сам смотри, – и она неожиданно для себя сунула листок к собачьему носу.

Тайфун нежно взял его зубами, положил перед собой, стал усердно обнюхивать и, присев на брюхо, вдруг положил на письмо морду, как бы согласившись со словами хозяйки. «Ишь ты! – подумала Семёновна. – Животина безмолвная, а ведь тоже скучает». И тут она заметила, как из глаз Тайфуна выкатились слезинки и застыли на волосатых щеках.

Как-то всё посветлело в жизни Масловой – то ли в душе, то ли в природе.

– Добрались, значит... Спокойнее на сердце теперь будет, раз всё у их хорошо. Дай Бог, пусть живут и радуются, коли всё ладно! А мне много не надо. Скоро день на прибыль пойдёт, значит, и весна близко. Ничо, как-нибудь... Тепло придёт – веселее станет, на огород ходить буду. Надо только подождать.

За окном кружила метель, в трубе озоровал ветер, в русской печи потрескивали дрова. На душе было спокойно и легко. Только с улицы всё доносился тревожный лай Тайфуна.

– Ничо, Тайфун, скоро жись наладится, весна придёт, нужды не будет тебе скучать, – тихо проговорила Прасковья, выходя во двор.

Собака запуталась на цепи – прыгала на трёх лапах. Сколько ни крутила Маслова привязь, ничего не выходило – цепь не распутывалась. Стояла Прасковья, неудобно согнувшись над Тайфуном. У неё больно кольнуло сердце, будто что-то внутри оборвалось, ноги наполнились тяжестью, руки окаменели, перестали шевелиться, дышать стало тяжело. Прасковья Семёновна хрипло вздохнула и упала на снег.

Несколько дней подряд тихое село будоражили непрерывные завывания Тайфуна. А как устали соседи от душераздирающего воя собаки, решили посмотреть – не случилось ли чего. Прасковья Семёновна лежала занесённая снегом. Её окоченелая рука мёртво сжимала цепь. Рядом с безжизненным телом лежал обезумевший Тайфун и жалобно выл, как одичалый, брошенный родной стаей зверь.

## 12

На старом сельском кладбище рядом с могилкой Ивана Маслова появился новый холмик. Мёрзлые комья земли задувала метель. Злой и колючий ветер трепал траурные ленточки венков. На деревянном кресте виднелась надпись: «Маслова Прасковья Семёновна», – и даты рождения и ухода из жизни.

Андрей так и не получил долгожданного ответа от мамы.

